

КТ 1214183

с

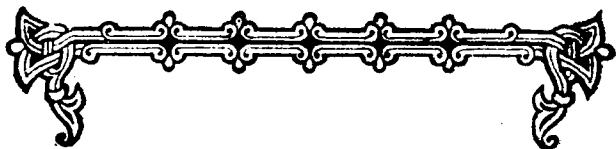
АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ



Голова садовая

АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ

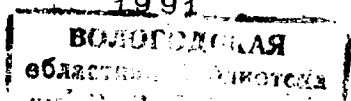
Голова садовая



к 1214183

ВОЛОГДА

1991



Вологодское отделение Ассоциации исследователей
бездомных и безработицы

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Видения старого дома	стр. 5
Петрович	стр. 20
Без кусочка	стр. 30
Свет души	стр. 39
«Галдарея»	стр. 50
«...Да самовар-батюшка»	стр. 52
Дома	стр. 53
Свой расчет	стр. 54
Страшная месть	стр. 55
Менистр Олеша	стр. 56
Вот это ружье!	стр. 58
Темная бутылка	стр. 58
«Полкило погиблы»	стр. 59
По соседству	стр. 61
Посидела	стр. 62
«Свинарка и пастух»	стр. 63
В отставке	стр. 65
Ценители	стр. 66
Пожарный рай	стр. 70
За мукой	стр. 72
Чувство хозяина	стр. 74
Ночью	стр. 77
Гомо сапиенс	стр. 78
Праздник	стр. 80
Всяк кулик	стр. 81
«Что я вам скажу...»	стр. 82
Как Петька не поверил Геродоту	стр. 86
Не положено!	стр. 89
«Понеси бадог...»	стр. 94
Под лозунгом	стр. 100

На фронте наробраза	стр. 103
Кукарача	стр. 105
Кирилловская	стр. 109
«Теоретически»	стр. 112
На Югах	стр. 114
Стакан водки	стр. 115
Дубовая аллея	стр. 118
От винта	стр. 120
Где рай земной?	стр. 122
Здравствуй, Наталья Петровна!	стр. 124
Кого вычеркивать	стр. 125
Натуралист	стр. 125
Два фольклора	стр. 126
По графику	стр. 126
Зимовье на Ягрыше	стр. 127
Сон Федота	стр. 129
На том стоим	стр. 130
Озолотились	стр. 131
Круговорот сала в природе	стр. 132
Своим домом	стр. 133
Вологодская коррида	стр. 133
Шинель	стр. 135
Фильм про войну	стр. 135
Собственник	стр. 136
Поговорили	стр. 137
Двойной оклад	стр. 138
Как жили!	стр. 139
На тракте	стр. 139



РОДНЫЕ МОИ



Видения старого дома

Каждый раз поезд проходит через станцию ночью. Из мрака набегают тускло-желтые фонари, пустынные улицы с мерцающей призрачно грязью, полосатый облезлый шлагбаум, посеченная дождями будка стрелочника с таинственной жизнью за освещенным оконцем, наконец, выплывает перрон с одиноким заспанным дежурным.

— Пречистое, станция Пречистое, — от бессоницы голосом. Никто не откликается на ее призыв, и она уходит в тамбур, монотонно повторяет проводница севшим гремит угольным совком.

Состав дергается, лязгает на стыках, снова втягиваясь в ночь, и я, прилепившись к окну, выглядываю в темени крайнюю от реки улицу с разросшимися тополями, под которыми, надвинув на окна трехскат-

ную крышу, по-стариковски отрешенно дремлет наш родовой дом. На какое-то мгновение в окнах его отражается свет поезда и кажется, что в глубине дома что-то смещается, приходит в движение. Но гаснет мимолетный свет, и снова слепо смотрят в себя его окна, словно думает он глубокоую, потаенную думу.

Больше уже не уснуть. Беспокойная тоска рождается в груди. Сжигаю в тамбуре сигарету за сигаретой, всматриваясь в бесконечную стену темного леса, и тоже думаю свою думу: о себе, своих предках, о судьбах людей и домов, о памяти, которая, как оказывается, есть не только память твоей жизни, а способна удивительно ярко и осязаемо высвечивать вдруг картины той далекой жизни, в которой ты не мог сам жить, не мог видеть и чувствовать.

Вот жарким июльским полднем режут на пруду нашу корову Краснуху на общеколхозные нужды, и моя пятилетняя мать с плачем под хохот мужиков тащит ее большое дымящееся сердце домой. Я вижу деда Сергея, вечно озабоченного и хмурого, как он пришел домой с болота, где утонула в трясине вторая наша корова Пеструха, как убитый горем сел на лавку, захватив негнувшимися руками голову. Я помню ужас наступающего голода, кото-

рый первой осознала моя бабушка, к тому времени мать пятерых детей.

Первым из Быкова уехал в поисках заработка в соседнюю Ярославскую область, дед. Председатель колхоза в отместку перестал давать наряды бабушке. И она одна, с кучей ребятишек долго не смогла выдержать. Наняла подводу, погрузила немудрящий скарб в телегу и отправилась по долам и горам Междуречья к далекой Бушуихе, где изредка останавливались грохочущие паровозы. Без письма, без телеграммы, без предупреждения.

Первый раз в жизни дед заплакал. Увидел табор, ожидающий его на перроне, и заплакал:

— Господи, Маша! Куда же я вас дену. Я ведь и сам в конюшне живу.

Я отчетливо представляю и брошенный дедов дом в деревне Быково: из золотистой сосны, с высокой подклетью, с мезонином под крышей, «звонкий, как колокол». Лет десять назад довелось побывать на прародине, завернул по зарастающей дороге на печины древней деревни Быково. Лишь ветер гудел в бурьяне, да простуженно на одичавшей яблони каркала такая же одичавшая ворона.

...Столяр и плотник, печник и бондарь дед мой, Сергей Сергеевич Петухов, начал

строиться вновь, откладывая на стройку каждую копейку. Лет пять дожидалась семья нового дома, обитая в сторожке при райпотребсоюзской конюшне. И не успели обжить новые хоромы, как из Междуречья один за другим тронулись многочисленные братья и сестры бабушки Маши, согнанные недоброй властью с родных гнездовий. Так дети Дмитрия Сергеевича Синицына, делегата первого Всероссийского съезда крестьян, перестали быть крестьянами.

Сначала приехал на разведку Василий Пахомов, муж средней Синицынской сестры тетки Дуни, человек прижимистый и скуповатый. В щегольских хромовых сапогах через плечо, чтобы зазря не трепать, в чесучовом пиджаке с зашитыми в подкладку деньгами явился он к бабке Маше за советом: где присмотреть продажный домик, подешевле, да получше.

Бабушка назвала адрес, Пахомов ушел, да и пропал на всю ночь. Лишь под утро заявился. Без сапог, без денег, со вспоротой подкладкой. Сел на лавку и заревел:

— Митриевна! Я ведь все проиграл. До синь пороху.... Повешусь!

— Ах ты, турка, патрецькая твоя рожа,

— заругалась бабка, натягивая жилетку.

— На чужое позарился и свое потерял.

Ушла и через полчаса принесла и сапоги, и деньги. Дядька Вася бухнулся к ней в ноги...

Со всем возрастающим семейством перебрался в Пречистое дядька Генаша. Он был хром с младенчества. Когда-то тетка Дуня нянчилась с ним, посадила на весенний, еще не прогретый лужок, да и заигралась в лапту. Малец застудился, болел долго, с тех пор застуженная нога так и отставала в росте.

Дядька Генаша освоил портяжное ремесло. Чего только он ни перешил за свою жизнь: костюмов, пальто, шуб, шапок... Но вот главной его специализацией и по сей день остаются кепки-восьмиклинки. Мода на них одно время была большая, сравнимая, наверное, только с повальным увлечением джинсами сегодня. Бывало как ни зайдешь в дом дядьки Генаша — впечатление, будто в доме со всей округи мужики. Восьмиклинки по стенам на каждом гвозде, восьмиклинки на столе, на шкафу, на кровати, под кроватью на деревянных колодках... И сегодня нет-нет, да и закажет дядьке Генаше какой-нибудь старичок, верный моде своего времени, восьмиклинку. То-то любо старому мастеру. Раздвинет на столе вороха выкроек, расправит материю и на глазок, без при-

кидки вычертит обмылком будущую кепку.

Самого же дядьку Генашу природа кроила на богатыря. И если бы не этот вот изъян, был бы он «первым парнем на деревне». Широкоплеч, осанист, на могучейшее крупная голова в густой седой шевелюре, орлиный нос и веселый погляд.

Впрочем, хромота не мешала ему блеснуть и молодецкой удалью на гулянках. А вот женился Геннадий Дмитриевич на добрейшей, тишайшей, маленькой, словно воробышек, Шурочке. И ее кротость удивительным образом повлияла на дядьку Генашу.

Бывало возвращается он с работы из села на станцию. Дорога не близкая. А как говаривала моя бабушка: «Для Енаши со станции до села три версты, а от села до станции — восемь». Это потому, что на обратном пути нужно было миновать столовую, чайную и станционный буфет. А заказчики, они везде одинаковые. Кому не хочется мастеру угодить, авось наперед пригодится. Тем более, что в одних только восьмиклинках его щеголяла вся станция и село.

— Геннадий, — зазывают из столовой знакомые шофера. — Заверни.

— Не, ребята, недосуг. У меня ведь семеро по лавкам, — крепится Дмитриевич.

Из чайной кричат, за рукав тащат. Отбивается. Но у станцинского буфета сопротивление сломлено, и он на час-полтора застревает за мраморным, уставленным пивом столиком.

А далее природная удаль берет свое. Дядька Генаша, решительно опираясь на трость, по гусиному переваливаясь с боку на бок, преодолевает переезд, весело и грозно покрикивая:

— Всех пережу! У меня ножик за голенищем. Всех перестреляю, у меня пулемет на светелке!

Но прохожие по сторонам не шарахались, поскольку все знали, что сапог Дмитрич отродясь не носил, а, значит, и голенищ у него нету. И про пулемет погибает, поскольку светелки тоже в доме нет.

Дом стоял на крайней к полю улице и был настолько мал, что казался игрушечным. Дядька Генаша приближался к калитке, осаживая и резко меняя настроение. Метров за пять до отводка жалобным, покаянным голосом призывал: «Шурочка! Я заболел, Шурочка! В последний раз, Шурочка». Маленькая Шурочка-воробышек выбегала из заулка, подхватывала грузное тело мужа, провожала домой, приговаривая: «Да что ты, старый, будет тебе убиваться-то!»

◆
◆
Дома разбойный мотив снова всплывал из успокоенных было глубин:

— Всех перестреляю! У меня пулемет на светелке! — громыхал он.

Средняя дочка Валя подходила к отцу на цыпочках и заговорщески шептала:

— Папка!

— О-о, Валюха-то моя. Чо Валюхе-то моей, красавице? Вся в батьку Валюха-та...

— А ты бы папка не рассказывал всем-то.

— Чего?

— Да что у тебя пулемет на светелке. Ведь украдут.

Дядька Генаша хитро улыбался, прикладывал палец к губам и умолкал. Мир воцарялся в доме.

Справедливости ради надо сказать, что такие вот заболевания были у дядьки Генаша не так уж часты. Шутка сказать, поднять девятерых на ноги. И работал дядька Генаша не разгибаясь. И в мастерской, и дома, и в будни, и праздники, и в выходные и проходные с утра и до позднего вечера стучала, не останавливаясь, его зингеровская машина. Стучит она и по сей день, хотя уже нет той нужды, все подняты, все к делу приставлены, своими семьями живут. Стучит, не в силах унять

◆
◆

той инерции, которую ей когда-то сообщали.

Давно уже отстроен новый дом. Большой и просторный на берегу речки Учи, которая тиха и мелководна, но каждый раз по весне поднимает свой норов и захлестывает Синицынский огород и двор.

В ту пору, как половодье, прибывают в дом дети: красивые, статные, со своими невестками и зятевьями, внуками и правнуками. В доме ни пройти, ни повернуться. А народ все прибывает и прибывает. Двоюродные племянники и племянницы, троюродные внуки и внучки, и так далее, до седьмой воды на киселе. И всем здесь удивительно хорошо.

Сияющий дядька Генаша прохаживается из комнаты в комнату, потряхивает седой львиной гривой, извлекает из бездонных карманов платки для утирания слез, и, как встарь, ласково погромыхивает: «А вот я вас всех на котлеты перемелю».

За свою долгую жизнь с Шуручкой дядька Генаша мухи не обидел.

...Перед самой войной наша большая родова вновь собралась вместе. Приехал и срубил в Пречистом дом замечательный плотник и столяр Петр Дмитриевич Синицын. Павел Дмитриевич поставил дом

в недалекой от станции деревне. Тетка Фиса переехала со своим семейством. Что за сила собирала их вместе? Может быть, предчувствие близкой трагедии и стремление быть пред лицом ее вместе.

Сколько детишек наплодилось в эти годы — пересчитать трудно. У бабушки Маши — пятеро, у тетки Дуни — шестеро, у Фисы — четверо, у Петра — четверо, у Геннадия — девятеро. Это не считая двоюродных и троюродных родственников, выехавших следом. Я думаю, какой бы в обезлюдевшем Междуреченском районе, дружный и испытанный колхоз был бы, не оставь коллективизаторы моих предков перед голодной смертью.

Дед мой Сергей Сергеевич ушел в военкомат в первые дни войны. Последний раз поклонился семье, дому, родне, и поглотил его серый вагон, умчал паровоз в бушующее пекло. Через месяц получила бабушка казенный пакет. Дед не доехал до фронта. На одном из перегонов настигли эшелон фашистские самолеты и разбомбили его в клочья. Где она, та братская могила, не знает никто.

Где-то в районе Бреста пропал в первые дни войны старший сын — Петухов Александр Сергеевич, ушел на войну Николай Сергеевич. Забрали дядьку Ваню

— мужа Анфисы Дмитриевны. Вскоре и на него пришел казенный пакет: «пропал без вести». Ночью стоял на часах, а утром его не стало. Это обстоятельство оставило семью без всяких аттестатов, а в последствии без пенсии. Тетка Фиса одна убивалась, тянула семейный воз. И лишь однажды, устав до смерти, обругала она сгинувшего без вести мужа. Но спохватилась и целое воскресенье простояла в церкви, замаливая этот нечаянный грех.

Старшим в их семье был Николай, Юрка — годом моложе. На картошке с крапивой богатырем трудно вымахать. Оба были малы и худосочны. Уже как-то после войны взяла моя бабушка Юрку в гости в Вологду. Сели в купе. Юрка закинул нога на ногу, достал кисет, свернул в два пальца козью ногу и задымил.

— Ох ты, супостат, заругалась бабушка. Брось сигарку. Ведь по детскому билету едешь!

Но парни хоть и малы были, а сноровисты. У Николая вообще руки золотые. И обувь починить, и валенки подшить, и пилу развести... Была в ту пору в селе инвалидная артель, где горшки глиняные лепили да обжигали. Николай там с двенадцати лет копейку зарабатывал. А в тринадцать поставили его директором

мастерской. Слово-то какое — директор! Тетка Фиса от радости как на крыльях летала. А вечером собрался обсудить это событие весь род. Решили молодому начальству справить новую одежду из старого пальто. Дядька Генаша обмерял шуплую фигуру Кольки-директора и сшил к утру замечательного объема галифе на вырост, которое составило бы честь не только директору мастерской, но и целого завода. Дядька Павел стачал парню сапоги из старых кроев, тетка Дуня картуз принесла украдкой от хозяина.

Но директорствовал Колюха недолго. Отпетые головы — инвалиды сбили парня с толку. Сначала устроили сабантуй по поводу восхождения на пост, потом похмелялись с неделю.

Как-то прибегают к тетке Фисе соседки:

— Фисуха, директор-то твой между селом и станцией в канаве лежит. Иди забирай.

Тетка Фиса курицей-квохтой понеслась к селу. Отыскала Колюху, перекинула через плечо и принесла его домой во всей начальственной экипировке.

Спустя какое-то время заходил вокруг мастерской милиционер. Отпетые головы, оказалось, продали на сторону дрова, кото-

рые были заготовлены. на обжиг горшков. Собрались было судить директора за растрату, но прокурор, вызвавший его на допрос, и увидевший перед собой мальчишку, утиравшего рукавом расквасивший некстати нос, только рукой махнул и сам полез в карман за платком, чтобы утереть свою слезу.

...А война была совсем рядом. То и дело налетали самолеты и бомбили составы. На станции было голодно. Но вот однажды бомба попала в поезд с перловкой, и станцию засыпало крупой. Кто знает, может эта перемешанная с песком крупа, или курицы тетки Дуни, или корова бабушки Маши, на которую по летам косили всей родовой, и помогли выжить и сохранить для будущего молодую поросль. Как страшный сон, миновала война. С мешком за плечами прошел неспешно к своему дому дядька Вася Пахомов, один из немногих уцелевших, и тетка Дуня с воплями выскочила его встречать.

В свое время ей не терпелось замуж выйти. Все бабушку мою торопила. Та постарше была, а в деревне «через сноп не молотят». Вот и вышла тетка Дуня за Василия Пахомова, мужика прижимистого, скуповатого, А у тетки Дуни характер тоже не мед. Так что у них, что ни день, то ма-

1214183

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина 17

лая война. А когда и в самом деле провожала мужа на фронт, голосила на всю улицу, убивалась.

Тот на службу попал при полевой кухне. Три года у котла провоевал и первым домой отправился. За три года мешок крошек накопил для куриц. И вот тетка Дуня заметила из окна, что муж возвращается, заголосила, запричитала радостно. Но дядька Вася остановил ее.

— А ты, Дуня, куриц-то кормила ле?
— спрашивает строго.

Та аж с лица спала:

— Нет, леший понеси, тебя дожидалась!

...Почему ослабевают вдруг кровные связи? Что гонит детей из-под родительских крыш? Легкость жизни или наоборот трудности ее?

В пятидесятые годы начали разлетаться из гнездовий родных Сеницыны, Петуховы, Пахомовы. Не удержать. Бабушка моя к тому времени на пенсию вышла, за нею и сестры. Вокзал да поезд — дом родной. Надо род спасать, надо братьев и сестер кровными узами вязать. Не время по свету перекати-полем без роду и племени болтаться.

Бывало одна с поезда сходит из Мурманска, другая садится, в Сибирь правит. А уж бабушка моя всех перекрыла. С весны

огород посадит, осенью картошку выкопает, а все остальное — в дороге.

Как-то приехала, рассказывает какая история с ней приключилась.

Была в Ленинграде и занесла ее нелегкая в Пассаж. Народ кругом в пробеге бежит, никто словом не обмолвится.

То ли дело на родном Пречистом. Разве кто пройдет мимо не раскланявшись:

— Доброго здоровья, Марья Дмитриевна!

Скушно бабушке, досадно: ни одного знакомого, приветного лица. И только видит она, что напротив ее стоит бабка в плюшевой жакетке, катаниках с калошами, в полушалке и в руках котомку с луком держит. Да такая родная, да своя — не высказать.

Всплеснула моя бабка руками:

— Фисуха! Ты-то откуда взялась!

Бросилась было обнимать да лбом в стекло стукнулась. А народ, что кругом был, захохотал: что это бабка вздумала со своим отражением в зеркале лобызаться?

Да, кому слезы обидные, кому смех. И все-таки приятно встретить в чужом городе родимого человека.

...Сестры держали крепко кровные связи. Лишь благодаря их трудам неус-

танном, все мы знаем друг друга, помним, в праздничных гуляниях. собираемых опять же ими неумоимо.

Но вот успокоились все трое. И бабушка моя, умирая, как эстафету передала моей матери наказ не выпускать из рук родственных уз. И теперь уже мать моя колесит по просторам Отечества, верная своему обету...

Я стою у вагонного окна не в силах унять беспокойной тревоги и предчувствий. Трудное время грядет. Наверное, пора, выйти на станции Пречистое и мне.

Петрович

Жарким летним днем отправился я со своей будущей женой в ее деревню свататься. Автобус довез нас до центральной усадьбы колхоза, а дальше нужно было идти километра три пешком. Природа благоухала. Цвели цветы, и пели птицы. Но мне было не до того.

Я уныло брел по дороге и никак не мог представить себя в роли жениха: что нужно делать, чего говорить, как называть предполагаемых тестя и тещу, как поступать, если тебе вдруг откажут. Тем более по агентурным данным было извест-

но мне, что я не первый желающий, что и до меня были в доме претенденты, выставленные с позором: не по себе дерево рубили.

Невеста моя в ту пору заканчивала университет, работала в районной газете, что было первой гордостью родителей. Вся округа знала, что у Николая Виноградова старшуха может кого хошь в газете пропечатать. Были еще две дочери. Одна в Москве на самолетах стюардессой работала — так же предмет гордости, а у младшей, Киры, все пути в знаменитости были впереди, школу заканчивала.

И еще было известно мне, что всю жизнь мечтал Николай Петрович Виноградов сына иметь, но вот не получилось с сыном. Когда родилась третья дочь, был Петрович в дальнем рейсе и домой вернулся уже под утро, да к тому же изрядно выпивши. Скинул на крыльце сапоги, а тут теща в дверях встала:

— С прибылью тебя, Николай!

— Сын? — Вскрикнул Петрович.

— Да уж не знаю, как и сказать.

— А-а-а! — Догадался Петрович. —

Пропади оно все пропадом. Застрелюсь!

Схватил ружье и в одних носках ударил вдоль деревни. В лес.

Брат Геннадий, увидев в окно старше-

го, бегущего в носках и с ружьем, доложил супруге:

— Слышь, Паня. У Николая-то опять дочка родилась.

Вернулся он часа через полтора, успокоенный. Деловито выстирал на пруду носки, развесил на заборе сохнуть, пошел в дом.

— Ладно. Пусть будет Кира, — сказал, поглядев на прибыток.

Кирой звали в заготзерно приемщицу хлеба, которую очень уважал Петрович. Она была строга, ходила в белом халате и обращалась в лаборатории с колбами, ретортами и реактивами, словно деревенская баба на кухне с горшками.

Так вот и стал жить Петрович в женском коллективе, надеясь обрести мужскую поддержку уж только в зятевьях. Но по всем данным выходило, что первый зять должен быть у Петровича солидным: либо начальником, либо военным. А у меня еще не росла борода, портфеля не было, и в воинском учете значился я нестроевым.

Вот с такими нехорошими мыслями брел я в деревню, когда неожиданно взвизгнули сзади тормоза, и из клубов пыли через минуту обозначился, выдавший виды, колхозный грузовик. Хлопнула двер-

ка, и из кабины выскочил на дорогу коренастый мужичок, по-деревенски бравый. В кирзовых сапогах, галифе солдатском, шоферской фуражке с лакированным козырьком.

Он, видимо, понял, кто я такой, и, внутренне сбираясь, думаю все-таки, что я хоть и невзрачен на вид, но всяко какой-нибудь да начальник, протянул руку.

— Здравствуйте, Николай Петрович, — сказал я.

— Колька! — то ли поправил он, то ли представился, я не понял.

Но было в этом представлении не столько унижающего, сколько напускной бравады. Мол, это вы все там Николай Петровичи, а у нас запросто — мы тут все Кольки. Хоть и сами с большим начальством ручкались, да не чинимся.

До меня все это дошло позднее, когда привез он нас домой и стал знакомить с семейством.

— Это моя жена Маруся! — показал он на будущую тещу. А это, — показал на меня, — Николай Петрович!

И так всем по очереди родственникам представлял он меня своим именем-отчеством.

...Сошлись мы с ним быстро. Пока собирали женщины на стол угощение, по-

шел у нас разговор про охоту да рыбалку. Ружьишко у меня было со сломанной ложей. Договорились: «сделаю лучше заводской». Да в районной газете была у меня напечатана заметка про то, как один мужик медведя убил. На том и сошлись.

Ну, а уж потом в застолье у всех языки развязались. -Пошли рассказы, воспоминания, анекдоты. Выпито было уже изрядно, когда поднялся над застольем Петрович и, ожидая полной тишины, поднял руку:

— А я вот граждане, доложу вам такой случай.

— Стояли мы в мае сорок пятого в немецком городе Веймаре. Понятное дело, такую войну одолели. Каждый день праздник. Ну, и собрались как-то три генерала: русской, французской, английской. На девятом, заметь, этаже. Выпили, значит, по стакану коньяка и заспорили...

Да, вот сейчас я думаю, какой артистический талант пропадал в Петровиче. А может, это и не артистизм вовсе, а сама непосредственность русского человека.

Вот он в лицах изображает генерала, а этот — французский, ну, а этот точно американец.

Петрович уже вошел в азарт, пораз-

двинул стулья, пространство себе освободил.

— Заспорили, который солдат лучше. Английской говорит — английской, французской — французской, ну, а русской, понятно, что лучше нашего Ивана солдата нет. Решили сделать испытание.

Петрович сел на стул и тут же изобразил английского генерала, прямого, чопорного и с мноклем:

— Ну-ка, Джон, зайди сюда! — крикнул английский генерал.

Тут Петрович сорвался с места и в один миг оказался за дверями, которые через секунду отворились, и на пороге предстал английский солдат в одежде Петровича.

— Слушаю, господин генерал! — закатывая глаза и вытягиваясь, доложил он.

В следующее мгновение Петрович уже сидел на стуле и изображал английского генерала.

— Ну-ка, Джон, прыгай в окошко!

— Никак нет, господин генерал, — звонко рапортовал Джон-Петрович.

— Это почему? — возмущался Петрович-генерал, вскакивая со стула.

— Война кончилась, господин генерал! — звонко и радостно отвечал Джон.

— Выйди вон! — ярился генерал и падал поверженно на стул.

Петрович скрылся за дверью, но тут же явился на стуле в качестве французского генерала. История повторилась, были выгнаны за двери французский Жан и американский Джим. Наступала кульминация.

Усталый «русский генерал», Петрович, усталым голосом кликал Ивана.

Появился Иван с некоторой небрежностью в одежде и спокойным голосом отвечал:

— Чо, товарищ генерал?

— А прыгай, давай, Ванька, в окошко!
— приказал генерал.

Тут Иван замер на секунду, что-то соображая, и дальше, рванув на груди рубаху, так, что пуговицы брызнули по всей избе, «русский солдат» — Петрович начал метаться по дому с отчаянным криком:

— Ох, мать твою так, в котороё-ё!

И он уже подскочил к полураскрытому окну, и еще мгновение, кажется, сиганул бы в него, но тут нервы мои не выдержали, и вскочив со стула, я закричал:

— Отставить!

Петрович резко обернулся и, сияя ра-

достно хитрыми глазами, приложил руку к «пустой голове»:

— Слушаюсь, товарищ генерал!

...Снова нагались тосты и заздравицы. Я по причине молодости и стремления выглядеть положительно пил одно самодельное пиво и к концу застолья едва не угодил под стол. Петрович тоже изрядно замочил. Мы сидели с ним на веранде, и он в порыве откровения рассказал о своей судьбе.

— Толя, — говорил он мне. Зять мой дорогой, Анатолей Костанкинович! Не могу! — Слезы катились по его глубоким бритым морщинам. — Я всю войну прошел. А кто я для них теперь? Колька. Шоферюга.

— Видишь! — он оттянул разорванную рубаху. Под левым соском красными лучами сходились лучи.

— Фашист. Двадцать второго июня. Штыком. Здоровый был, рыжий. Но я его опередил. Я весь покалеченный войной.

Он уронил голову на руки, сидел долго. Потом резко вскочил:

А где они были? По домам сидели, а теперь на машинках легковых дамочек катают. Колхоз развалили. По весне половину льна сожгли. Прокатили, язви их...

...Пока сидели на крыльце, стемнело.

◆ Ночь выдалась теплая, беззвездная. Вышли женщины из дома, позвали спать. Я уже и так клевал носом, а Петрович все топтался посередь крыльца, махал нервно руками, что-то доказывал, с кем-то спорил, скрипел зубами.

Спал я на сеновале часа четыре. Разбудил петух, заоравший внизу надсадно. Болела голова, хотелось пить, и я полез по скрипучей лестнице на коридор.

Вышла теща, напоила из битого алюминиевого ковша.

— Только угомонился, — показала она на крыльцо. Всю ночь воевал. Ведь уж сорок лет войне-то, а он все воет. Ох, горе мое...

Петрович спал на старом пружинном диване в неудобной позе, поджав под себя ноги и выкинув в сторону раненую, в рваных шрамах руку. Лицо его было беспокойно. Видимо, мучали его тяжелые сны.

Я сел на ступени и смотрел, как всходит солнце, как туман, поднимается с низин и крадется тихо огородами к деревне, вспоминал вчерашний вечер.

...Перед самой войной стояли они в Алитусе. Петрович уже заканчивал «срочную» и всеми мыслями был дома. В ту ночь снилась ему родная деревня. Он в гражданском «пинжаке», галифе

◆

и надраенных яловых сапогах, Генаха, младший брат, батько Петро — борода седым клинышком, как у Калинина, рубили новый дом. Быстро так рубили. Уже матицу положили, под крышу подвели, а Генаха и говорит: «Ровно гроза идет. Гли-ко, Колюха, над Прониным что делает». Поглядел Николай, и прянь над старым барским парком черным черно, молнии польщут, грачи носятся стаями. Глядит, а и не грачи это вовсе, а самолеты. Маленькие, словно игрушечные. Он на срубе стоит, а сруб шатается, земля ходуном ходит.

Батько Петро говорит: «Худо, робята! К войне».

Я старался представить Петровича молодого, в солдатском «хэбэ», в обмотках, бегущего в первую свою атаку. Представить его, бредущего по знойной дороге с запекшейся, хлюпающей в ботинке кровью.

...Плен. Голое поле, обнесенное колючей проволокой. Вышки с охраной. Стылая земля, ветер, сосед окоченевший, с мертвыми открытыми глазами...

Проходит по деревне пастух с колотушкой. Коровы заспанные бредут лениво серединой улицы. Вылезает собака из будки, зевая и потягиваясь, виляет хвостом

и тычется холодным носом в колени. Где-то на краю деревни стучит, набирая скорость, колодезный ворот и бумкает глухо ведро в стылой глубине колодца. Начинается новый день. И я ощущаю себя обыкновенным человеком, словно влили ночью мне другой, но уже ставшей родной, крови.

Без кусочка

Я приехал в тот леспромхозовский поселок с намерением встретиться с нужным мне человеком. Однако его не застал и от нечего делать пустился бродить улицами селения, в котором ветхие, полуразвалившиеся бараки, построенные лет сорок - пятьдесят назад, соседствовали с крестьянскими хоромами в два этажа, характерными для Севера, а беленые украинские хаты, бог весть как тут очутившиеся, — с неказистыми избенками из неспелого леса, постройки явно дачного типа — с шабашной застройкой восьмидесятых из бруса и щита..

...У небольшого лесопунктовского клуба висела самодельная афиша, извещавшая, что в это самое время здесь вершится выездной показательный суд над

гражданкой Корюковой Н. И., обвиняемой в кормлении скотины хлебом.

Я протиснулся в забитое людьми помещение и у импровизированного судебного стола увидел маленькую старушонку в плюшевой, малоодеванной жакетке, видимо, специально изъятый для столь торжественного случая из сундука. Бабуля растерянно топталась в новых, еще необмятых валенках перед судьейством и, похоже, плохо понимала, зачем ее вытащили сюда при всем честном народе.

Да, наверное, и молоденькая, почти девчонка, судья, и сам сидящий прокурор тоже не могли до конца осмыслить происходящее здесь действо.

— Итак, гражданка Корюкова, — строго вопрошал прокурор, — признаете ли вы факт кормления личного крупного рогатого скота продуктами хлебопечения? Отвечайте!

— Чего-то я, батюшка, не поняла, —

— Скотину, говорят, хлебом кормила? радостно подсказали из зала.

— Ой, ой, — замахала она руками и, обращаясь к прокурору, как к малому неразумному дитю, объяснила: — Да ить как? Разве к бычку без короцки пойдешь? Всяко и ты, цюдак целовек, без кусочка к бычку не пойдешь..

— Гражданка Корюкова, — возвышал голос прокурора, — я прошу отвечать по существу заданного вопроса: кормила ли скотину хлебом?

— Так, садова твоя голова, — терпеливо растолковывала ответчица, — я и говорю: разве можно к скотине без короцки?

Прокурор досадливо сморщился, публика захохотала, суд удалился на совещание.

Я вышел на улицу и увидел разыскивавшего меня шофера. Нужно было возвращаться в райцентр.

Но назавтра мне удалось поближе познакомиться с Ниной Ивановной Корюковой.

Я спускался от товарища утоптанной, почти ледяной тропинкой к дороге, подскользнулся и полетел головой в сугроб.

— Ой, ой, — услышал тут же знакомый голос. — Чуть ить не упал, садова твоя голова.

На крыльце соседнего барака, выглядывая меня из-под руки, в старой фуфайке и унавоженных катаниках стояла вчерашняя подсудимая.

А я чего-то тебя, парень, не знаю, — сказала она безо всяких церемоний.

— Да я командированный!

— Вербованный? Ну коль так, заходи чай пить.

Ветхий с наружи барак, временное пристанище лесозаготовителей, внутри, стараниями хозяйки, принимал вид и подобие крестьянской избы. Русская печь посредине делила пространство на прихожую, кухню и горенку. В последней была уже чисто деревенская обстановка: кровать с горкой подушек, увеличенные фотографии в простенках, гирлянды золотистого, необычайно крупного лука на жердочках у печи.

Сама хозяйка сегодня показалась мне не такой уж древней: на щеках ее сквозь темную окалину загара еще прибавился румянец, а единственный глаз сиял голубизной.

Она шустро собрала на стол молоко, хлеб, принесла фыркающий кипятком самовар, села напротив, сложив на коленях по-мужски тяжелые руки. После я узнал, что вот этими изуродованными полиатри-том руками (работала на сплаве, без счету за сезон принимала ледяную купель) накашивает за лето в свои шестьдесят пять лет до десяти тонн сена. Что стогует она его при помощи лестницы, что ежегодно сдавала государству трех бычков весом по полутонне каждый, что сейчас

вот держит корову, нетель да еще маленькую телушечку.

Но пока я пил молоко, рассматривал фотографии и слушал рассказ Нины Ивановны о своей семье.

— Это вот мама, — показала она. — Я с ней всю жизнь прожила, замуж не выхаживала. Два года назад схоронила. А это братья мои. Семеро их было, все загнули. Этот вот — самый любимый, младшенький. Веселый был, песенник неунывный:

Ты пляши, пляши товарищ!

Говори, что не устал.

Тебе дроля изменила,

Говори, что сам отстал.

Вот какой был. Тоже в войне сгорел. Осталась я одна на всем белом свете. Одна отрада коровушки мои милые, беляночки ненаглядные. Вот погоди, уж я тебе покажу их, красавиц моих.

— Ну, а как же вы попали сюда? Похоже, что из крестьянского корня? — спросил я.

— А вот я тебе все по порядку и расскажу. — Она указала в другой простенок, где рядом с лихим кавалеристом в буденовке висели, видимо, вырезанные из журналов, портреты Карла Маркса,

Сталина и Брежнева в маршаловской форме. Как оказалось, столь замечательное соседство имело для Нины Ивановны свой смысл.

— Этот вот, сверху, — тятя мой. Он у меня грамотный был, на леволюционера учился. Да вот только на большое правление не попал, работал председателем сельсовета, с богатыми боролся, кулачил их, Они за то по нему стреляли, да ранили, вот он рано со свету и убрался. Я от него политику-то и знаю.

— Этот вот, бородатый, — Карс Марс. Самый главный был у них. У него еще две дочки были. Одну Женей звали, а другую-то всяко Танька. А вот тот, — показала она на портрет вождя всех народов, — Иосиф Вассарионович. Они со Владимиром-то Ильичем у Карса Марса обучались за границей. Их там-то много училось, а вот на большое правление только эти двое и вышли. Уж ницово худо не про которова не скажу. Особенно Иосиф Вассарионович, представительной такой мушшина. Он умственно правил, безо всяких секлетарей да министров. Вот только Каганович ему помогал да Ворошилов. Всю-то он жись с врагами боролся. — Она тягостно вздохнула. — И был такой враг у народа — Берий. А тут заходит ко то-

варищу Сталину Клемент Ефремович Ворошилов и говорит: «Иосиф Вссарионович! Всяко тебя этот Берий так окружил со солдатами!».

А Иосиф Вассарионович выходит на крыльцо и говорит солдатам: «Взеть его! Вот этого Берия-то и взяли. И оказался он враг. А Иосиф Вассарионович, он с детских лет страной управлял. И все один, все один. — Нина Ивановна перевела дух и сочувственно закончила: — Уж хоть бы позвал кого!»

Мы молчали.

— А потом вот зачали колхозы везде делать. Тятя наш и загонял всех. Мы-ка первые в колхоз зашли, сдали коровушку-кормилицу. А тут тятя поболел недолго и помер. Заголодовали мы в колхозе-то. Слышим, будто на лесоповале кормовые дают. Поехали мы. С тех пор вот и живу здесь. В бараке.

О Брежневe мы не успели поговорить. Она встrepенулась, отгоняя невеселые воспоминания, и настойчиво принялась звать меня во двор.

— Пойдем-ко, пойдем. Поглядишь бяляночек моих маленьких. Коровушек моих.

Я все не решался спросить ее о вче-

рашнем решении суда. Но она заговорила сама, готовя на кухне пойло.

— Прокурон-то говорит: «Пейсят рублей с тебя, не корми, говорит, скотину хлебом». Ишь цево захотел: пейсят рублей. У меня вся-та пензия пейсят рублей за пейсят лет на сплаве. Ницево он от меня не получит, — решительно заключила Нина Ивановна, словно раз и навсегда завершая спор с «прокуроном».

Она подала мне два ведра с теплым, пахнувшим хлебом пойлом, сунулась снова на кухню и вынесли три большие присоленные скибы.

— Это большухе, этот доценькам ее. — И повторила дважды: — Как жо ко скотине без кусоцка? Нельзя ко скотине без короцки...

За баракком стоял рубленный из мелкого леса сарай, стены которого будто бы от непомерной тяжести крыши разъехались в стороны и были подперты разнокалиберным дрекольем.

Право слово, заходил я туда с большой опаской, что вот сейчас рухнет все это жалкое сооружение и погребет под собой и скотину, и меня вместе с хозяйкой. в темной, теплой, утробе сарая, пахнувшей сеном и молоком.

Белянки, услышав хозяйку, подали свои голоса.

— Милые вы мои, кушайте, кушайте, — приговаривала хозяйка, усаживаясь с ведром под большую. Через мгновение звонкие струйки ударили в подойник, с каждой минутой становясь все глуше и глуше.

— Ишь цево выдумал, — добродушно ворчала Нина Ивановна, — без кусочка...

...Где-то через полгода я узнал от товарища, что во исполнение решения суда с Нины Ивановны Корюковой было взыскано в пользу государства пятьсот рублей.

— Она же говорила — пятьдесят? — удивился я.

— В том-то и дело, что пятьсот, — отвечал товарищ. — Это она думала, что прокурор в старых деньгах сумму назвал. Где же ей такой штраф вообразить — пятьсот рублей.

— Ну, а теперь-то как она? — спросил я. — С кусочком или без?

— Чудак ты, человек, отвечал он. — Да разве можно к бычку без корочки...



Свет души

Завели меня под осень дороги в деревушку, что дворами своими в лес упирается, а окнами в опрятных стареньких наличниках, внимательно и выжидающе на дорогу смотрит.

Бежит по большой дороге быстротечное наше время в хлопотах, заботах, спешке, и некогда, вроде бы, остановиться, всмотреться внимательнее в тихую жизнь маленьких придорожных деревень.

Но вот вытряхнули меня обстоятельства из теплой машины в промозглый день, и остался я под немилостивым осенним небом, поливаемый дождем и продуваемый ветром. И кто знает, сколько бы проторчал в ожидании транспорта, если бы не откинулась занавеска в небольшом — три окна по переду — домишке, и чья-то призывная рука не поманила меня настойчиво в избу.

Я поднялся по ступенькам, перешагнул истертый подошвами порог и будто очутился под кровом родного дома: таким радужным и знакомым теплом пахнуло от растекавшейся жаром русской печи, от гудящего весело самовара, от светлой горенки, протяжного ласкового говора.

— Милый ты мой, в этое-то ненастье, батюшки! — Сухонькая старушонка с выпроставшимися из-под платка легкими, как пух одуванчика, волосами, не спрашивая имени моего, ни роду-племени, вспрянула из-за стола:

— Разболокайся скорее, обуточку-то я на печь поставлю, катаники дам. И самовар у меня на подходе.

И столько было заботы, участия, готовности отогреть чужого человека во всем порывистом облике моей спасительницы, что пропала сразу неловкость, будто ты и был тот самый желанный гость, которого долго выглядывала на лавке у окошка.

Так познакомился я с Татьяной Дмитриевной Симоновой, которой без малого сейчас восемьдесят лет, с человеком, от встречи с которым живет неостудимо и, верно, останется навсегда теплое чувство родства.

— Так уж кошка сегодня гостей намывала, так намывала, — докладывала мне она, собирая на стол, и глаза ее лучились веселым блеском.

— Да и сорока из утра прилетала. К беседе.

Я тогда подумал, что вот-де живет

одинокая старушка, которая каждому прохожему рада, чтобы скрасить свою жизнь. Но ошибался.

Посидеть и потолковать один на один нам не удалось. Едва самовар занял генеральскую позицию на столе, как проскрипела калитка, и на пороге появилась дородная женщина в годах — соседка, за ней пришла молодая, совсем по-хозяйски чувствующая себя в этом доме. Потом объявился пожилой мужчина, должно быть, пенсионер, присел на корточки на пороге, раскурил папиросу.

Новые гости чай пить не стали: «только из-за стола», поглядывали на меня с интересом нескрываемым, выжидая время, чтобы порасспросить, кто да откуда. А когда выяснилось, что корреспондент, заговорили в один голос:

— Это правильно, — сказала Анна Ивановна Полякова, женщина, которая в годах, — надо про тетку Татьяну написать. Она у нас радимая, приветливая. Мы каждый вечер к ней, иное полная изба наберется. И похохочем, и поревем. Вся правда у нее сказана, вся правда.

— Что правда? — не понял я.

— Да как же, вся правда у нее в стихах, — повторила Анна Ивановна.

Мне стало неловко. Вот ведь как полу-

чается. Оказался-то здесь я случайно. А ведь и на самом деле, ждали меня, ну пусть не меня — кого-то другого. Были уверены, что соседка их, тетка Татьяна — человек замечательный, чтобы к ней специально приехал корреспондент. И я поспешил достать блокнот.

— Ты, тетка Татьяна, стихи-то свои почитай, про то, как жили-то, прочитай, прочитай, а он запишет.

Татьяна Дмитриевна, увидев мои приготовления, заволновалась, руки ее затеребили передник, на морщинистом лице проступил румянец.

— Да какие мои стихи, я ведь и грамоте не знаю. С восьми годов в подпаски отдали, — в глазах ее накалились слезы. Но быстрым движением она смахнула в уголок платка близкое горе, и по тому, как, с каким интересом и вниманием смотрели на нее деревенские жители, как усаживались поудобнее, я понял, что вот сейчас начнется для них столько раз виденное, слыханное и все равно чудо.

Татьяна Дмитриевна оправила платок, руки покойно сложила на коленях, и глаза ее в глубоких морщинках, но живые и пристальные, будто всматривались в какую-то одной ей ведомую даль. И вот зазвучал плавный, напевный голос.

А как раньше мы жили?
Все полоски серпом сожнешь,
А как ржаную нивушки
жнешь,

Так все ноженьки в кровь
обдерешь.

Тапочек-то не носили,
А все больше босиком
ходили,

А нет, так безо всякие
отпорки

Наденешь как-небутные
опорки

Да до заката солнышка
жнешь,

Да еле спинушку
разогнешь.

В чем могу доказать,
Безо слез не сказать
Спросите у того народа,
Кто с девятисот пятого
года.

Тот люто покрутился,
Кто в те годы родился.

Она читала, пела свои стихи, словно
в забытти. Пожилой мужчина, сидевший
на пороге, подпирал голову ладонью, за-
быв про папиросу.

Анна Ивановна утирала платком слезы, глубоко задумалась молодая женщина.

Сейчас, когда я перевожу слова Татьяны Дмитриевны на бумагу, вижу, как теряют они в машинописных строчках свою прелесть, но стоит мне закрыть глага — я вновь слышу и этот напевный голос и вижу восторженных деревенских слушателей, и на душе у меня становится светло и радостно.

— Вот чешет, — восхищенно сказал мужик с порога. — Это тебя бы, тетка Татьяна, смолоду к грамоте определить, то-то ли было бы... Про Ломоносова-то слыхала? Вот.

— Меня, милый, смолоду другой грамоте обучали, — откликается Татьяна Дмитриевна. — У родителей не сладко, да и замуж вышла в бедность. Девятеро детей. Надо жить как-то. Вот и тянулась, Лешка, сын, грудной еще был, дома его не оставишь. А на мне два телятника было. Надо обрядить. Вот Лешку привяжу на грудь полушалком, сама ведра в руки — и таскаю воду-то с реки. Едут как-то молодые мужики на лошади: «Глядите, — говорит, — бабе-то какая нагрузка: два ведра и ребенок на груди!»

Татьяна Дмитриевна нахохлилась, слов-

но воробушек в холод, опустила седую голову, пригорюнилась.

— Я ведь почему начала складывать? Иной раз так тяжело, что вот-вот упадешь и не встанешь. Нету больше моченьки. А потом раздумаю про свою жизнь, и начинают в голове строчки складываться. Вроде, и легче станет, будто выскажешься кому.

В войну много стихов сложила, только сейчас забывать стала. Худо тогда жили, ох, худо. Ни поесть, ни обуть, ни одеть. А жить-то надо. Эта вон барышня и говорит мне, — Татьяна Дмитриевна показала на молодую женщину, сидевшую на диване, — дочка моя, Таисья: «Я в школу не пойду». Наряду-то нет, так она мне вспоминает: «Ты, говорит, мама, меня с веревкой до ручья гнала». А далеко. Так с веревкой все и шла. Семилетку кончила.

Таисья заулыбалась и тоже вступила в разговор:

— Отец — на фронте. А нас такая орава. Сами дрова рубили и домой, и на телятник. Маленькие-то эдакие. Да устанешь-то, да на воз-то не навалить. Как-то у быка чересседельник развязался, сидим и ревом.

А в августе рожь рано поспевает. Надо народ-то кормить. Давали на трудодни

новой муки. Мать, и говорит: идите девки, за мукой, да только дорогой не ешьте муку-то. Да разве удержаться?

Попойдем, попойдем, сядем, поедим. И смех, и грех. Все выросли, все в люди вышли.

Она начала по пальцам пересчитывать своих сестер и братьев:

— Две сестры в Калининграде, другая в Череповце, еще одна в Чебсаре, бухгалтер, Тоня вон в Нифантове на птичнике.

— За тысячу рублей стенку купили! — и покачала головой, то ли осуждая, то ли не веря в возможность такого.

— Как праздник какой, соберемся все вместе, с детьми, внуками — целый табор, — продолжала Таисья. — У меня вон дом большой, у брата... Нет, все к маме. Она у нас как солнышко: и светло, и тепло.

— Это уж верно, — поддержала соседка Татьяны Дмитриевны. Она и чужих всех привечает.

Татьяна Дмитриевна улыбнулась:

— Я тут косила усадебной. Иду домой. А молодой мужчина, такой хорошо одетый, на лавочке сидит, автобуса ждет. У меня коса большущая, вот эдакая, — развела она сухие руки. — А он — «Ой, — говорит, — бабушка, ты такая старенькая, и косила?» А я ему отвечаю:

Я топорик наточу,
Да и в лес покачу.
Дровишки там подбираю.
Не требую хороший кусок,
А гляжу, чтоб получше был лесок.

— «Ой, бабушка, — говорит он, —
какая ты еще». А меня он заинтересовал.
«Я, говорит, — здесь родился. Отец на
войне без вести пропал. Мать еще малень-
кого оставила. А на родину тянет, при-
ехал, куда и пришатиться, не знаю. Я, —
говорит, — от тебя так бы и не отошел».
Вот мы с ним будто родные и стали.
Я ему всю его жизнь в стихах сложила.

— А Сережку-то Кульпина знаете?

Татьяна Дмитриевна встрепенулась,
и глаза ее загорелись веселым огоньком:

— Председатель сельсовета нашего.
Говорит: построю к выборам сельсовет.
«Ой, не управиться», — отвечаю. А только
два раза в магазин сходила, уж у него
все готово! Вот у меня Сергей:

Сергей Кульпин — готов ответ.

Во срок построил сельсовет.

Удивляется народ:

Какой же быстрый поворот!

Хоть небольшая высота,

Какая в доме красота..

...Машина пришла за мною в сумерках.
Татьяна Дмитриевна провожала до калит-

ки и долго махала вслед. Ее худенькая фигура в накинутой на плечи фуфайке, цветастом застиранном платке, то пропадала в моих глазах, то появлялась вновь. Мы спустились в низину, и разом окутала мир темнота. А когда вновь выбралась машина на взгорок, я увидел далеко в непроглядной темени маленький дрожащий огонек ее избушки.



СТАРИКИ

Удивительные есть названия у наших деревенок. А у нас на Вологодчине, что ни горушка — то и деревушка, что ни гора — то село. Среди привычных Посадов, Погорелок, Починков, встретишь вдруг неожиданную, на особинку, деревню Девять Изб. Или, например, деревня Чистая Баба. Хочешь — не хочешь, а ломаешь голову: кто, когда, по какому случаю дал ей такое название?

У нашей деревеньки название тоже не обыденное. Называется она Старики. В былое время славились наши Старики пригожими девушками, со всего края ездили к нам сваты, да и о стариковских ребятах тоже говорили с почтением: лихие, да озорные были.

Правда, молодежка сейчас постоянной прописки в деревне не имеет. Разъехались по большим стройкам, да дымным городам. Так и доживают свой век в оставшихся Стариках старики, да старухи.

И в планах колхозного развития обозначена наша деревенька неперспективным населенным пунктом.

По весне в выходные дни деревеньки наши мало-помалу оживают. На городских вокзалах и станциях суета. Едет городская молодежь, и те, кто уже успел состариться на асфальте, в городских стенах детей поднять и внуков нанячить.

— Куда?

— Как куда? Домой...

И я давно уже городской житель, и нет у меня в Стариках ни кола, ни двора, а все же пробираюсь то пешком, то трактором-почтовиком, то с лошадью хлебозовки Музы домой, в деревню. И нет мне родней моих неперспективных Стариков, нет мне покойней пристанища.



„Галдарея“

Города начинаются с вокзалов, деревни начинаются с околицы. У нас на околице стоит «галдарея», поэтому можно прямо сказать, что Старики начинаются именно с этих амбаров, где на свайных мостках,

среди резных осиновых колонн осуждаются все основные события: деревенские новости, международное положение, здесь собираются на бригадный наряд, здесь рядят пастуха на лето, а раньше по праздникам устраивали перепляс, «топотуху».

Правильно было бы назвать это сооружение галереей, да не любит язык иностранных слов, от своего корня, от слова галдеть и пошла «галдарея».

Строили ее еще при председателе Дронове, мужике из местных, головастом, ухватистом, любившем во всем, хоть и колхоз-то был с рукавицу, широкий размах.

С укрупнением перевели Дронова в другой колхоз, с боем переводили, не отпускали его колхозники, не принимали нового председателя. Потом слышали, что опять куда-то Дронова переводили, потом еще и еще... Так и потерялся след председателя, а «галдарея» вот осталась, как памятник тем бойким и веселым временам.

Других памятников ни один из новых председателей не оставил в Стариках. Обошли деревеньку стройки, комплекс животноводческий вымахал на Великом Селе, выгоревшим лет сто назад, мелиорация стороной прокатилась, срезав леса, от чего оказалась деревенька, словно старая женщина без одежды, стыдливо и ви-

новато сбившая свои домишки среди ровной шири полей.

Но так же, как прежде, собираются здесь, на уже поредевшие беседы, и до поздней звезды текут и текут неторопливые рассказы про нового председателя, что житье у коров настало необыкновенное, что «кажинную дойку катают их на каруселях», — про житье новое и старое. И кажется мне, что вечно будет жива моя деревенька, что не может она так просто уйти в никуда, не оставив после себя ни следа, ни тропинки.

„...Да самовар- батюшка“

Изо всех старух на деревне самая старая Парасковья Заводчикова. Ей уже давно за девяносто. Годы ее спину согнули, морозы и солнце кожу высушили, а ни ума, ни сил своих она не растеряла. На ногу скоро, поворотлива.

Есть за бабкой Парасковьей грешок. Что плохо лежит, мимо не пройдет. Смотришь иной раз такую ношу из чужой загороды на себе прет, что и молодому не впору. Соседи списывают ей это грех на

скудность ума, да на старость. Да и ругаться с Парасковьей без толку по причине ее полной глухоты.

А дом у Парасковьи — полная чаша. В огороде все лето гул стоит, пчелы медок собирают, яблоки наливаются, малина, всякая овощь зреет. Во дворе каждая досочка к месту ткнута.

Частенько бабка Парасковья приходит к нам за помощью. То картошку из подпола вынут, то ульи достать. Дел у нее всегда хватает. Выгребаем из углов подполья мусор, переставляем пятилетней давности бабкины разносолы, а она вверху по дому ходит, песенки попевает. А песенка у нее всегда одна и та же:

«Нет лучше на свете печечки-матушки, да самовара-батюшки. Попили, поили, на печку полизли. Хорошо на свете белом жить».

Дома

Про дедка Семена Снопикова рассказывают, что всю жизнь отходом жил. Рубил дома по деревням, овины, старую Маринку перестраивал. Когда силы на убыль пошли, домой не вернулся, оженился второй раз на стороне, в примаки по-

шел. А уж когда совсем невмочь стало, домой запросился.

Старшая дочь Поля привезла его на лошади в розвальнях чуть живого. Разоблокли, на печь уложили.

— Ну вот, теперь я и дома, — поглядывает из-за борова хозяйским глазом, как бабы капусту рубят. — Польшка, тут у тебя чо: щи али капуста? Ты шей поболе делай. Я щи-то люблю.

Через пять минут:

— Угол-то у байни всяко Васютка рубил? Вот я ему по загривку-то и нахожу! А только что умирал.

Свой расчет

У разбитой дороги, по которой то и дело громяхают грузовики, живет тетка Марфа Трошичева. На дворе у нее всякой живности вдосталь. Овечки блеют, телок помыкивает, куры квохчут.

У теткимарфиного дома частенько останавливаются машины. А та и рада. Шась на кухню ухватами брякать. Мужики тем временем на стол вино. Выпьют, нахлебаются Марфиных щей, картошкой с бараниной закусят, капусткой и спасибо — до следующего раза.

Живут у старухи студенты-шефы, удивляются. Мол, зачем же ты, бабушка Марфа, всех привечаешь? Какая корысть тебе от всего этого? Эвон сколько грязи нанесли, да ведь и хозяйству раззор. Все за «спасибо».

— Э-э, — отвечает им Марфа, — на столе-то у меня все свое, а они и посидели, меня, старуху уважили, да три порожних бутылочки оставили. А это, считай, три буханки хлеба.

Страшная месть

Что за имена у наших старушек. Будто бы достали их со дна старого заветного сундука. Муза... Соля... Опросинья, Акулина.

Муза Сергеевна — поповская дочь. Как у нас в деревне говорят — слаутица. Голову всегда высоко несла. Лишь соседке Соле — подружке, сердце открывала, хотя та и простого роду была. Крестьянского. А потом словно коса на камень нашла. Пройдет Муза Сергеевна мимо своей товарки и взглядом не подарит.

А той бы по-простому: поругаться, да забыть. Так нет же, экие козни.

Завела тогда бабка Соля козу, да

и назвала в отместку Музой. Вечером выходят соседки скотину с выгона встречать...

— Му-у-за-а! Му-за-а! — кричит бабка Соля.

Коза бежит, хвост торчком:

— Бе-е-е...

Министр Олеша

Олеша Пудов — личность в деревне значительная. Даже больше. Кажется: не будь Олеша, не было бы и деревни. Или была бы она совсем не та, как балалайка без струны: брэнчать можно, а не сыграешь.

Дом у Олеша — точная копия хозяина, в переду широк, кособок, но задубел, крепок. Из-под лобастой крыши маленькие оконца щурятся, словно всей улице вызов бросили.

Таков и хозяин. Кривоног, осанист, глазки под кочками бровей маленькие, словно выпрашивают, давай-ка, мол, потягаться: кто-кого?

Хозяйство у Олеша самое, что ни на есть, бестолковое. Однако, по мнению самого, лучше дела никто не ведет, да и не может. Хоть за что возьмись. Ружье, из

которого лет десять никто не стрелял, — самое убойное и меткое; собака — большой специалист по любому зверю, хотя все знают, что специалист по чужим гнездам; Олешина корова на своем веку не одного медведя закатала, о чем и газета писала, но он ту газету ошибочно искурил; и так далее, до самого последнего гвоздя в стенке.

В деревне говорили, что предложи Олеше пост министра, не задумываясь пойдет. Поэтому и звали его в глаза и за глаза Министром.

Переспорить Олешу еще никому не удавалось. Ради потехи к нему мужики из соседних деревень спорить ходили. Зимой делать нечего, соберутся у Егора Опарина или Афони в карты поиграть посылают за Олешей. И начинается. Иной раз сутки двой спорят.

Особенная гордость Олеси — часы, тут уж его не тронь. Готов биться об заклад на Куранты против своей «Победы».

— А что, — говорит, — бывает и Москва ошибается. А вот был такой случай. А мои из тютельки в тютельку...

Вот это ружье!

Раз у дедки Афони Пудов расхвастался. Дескать, ходил на охоту, зайца за двести шагов снял, баба пирог пекла седни.

Но тут Афоня включился:

— От у моего дедка ишо дедково ружье было. Сидит в Васькове на зава-лине, видит у свата в Гурееве зайцы на капустнике. Насыпает в дуло горсть поро-ху, две горстки сечки. Как даст!.. так мало, что зайцев растрепало, так ишо два прясла в огороде вынесло.

От это ружье!

Темная бутылка

Долгое время в нашем деревенском магазине торговал Николай Афонин. Все гладко, да ладно шло, пока не пристра-стился завмаг к горькой. Бывало до чего доторгуется, что упадет за прилавок, а двери полы. Благо в деревне про воров не знали. Однако снимать завмага при-шлось.

Ну, а после и началась маята. Кто за это дело ни возьмется, одна поруха. Боль-ше года никому не поработать. Как реви-

зия, так и растрата. До чего дошло: торговать взялась бывшая учительница математики Анисья Мартыновна, да и та быстро этот пост оставила, тоже недостачу выявили.

На магазине больше месяца замок красовался. Не было больше желающих в завмаги. А без магазина матушку-репку запевай.

Выручил всех Олеша. Запряг мерина Дозора и поехал в сельпо.

Председателем в то время Иванов был. Вот и выкладывает ему на стол Олеша заявление. Мол, так и так, «прошу назначить меня зафмагом».

Иванов удивился:

— Да ведь у тебя, Алексей Иванович, всего два класса, а тут и Анисья Мартыновна не справилась.

Пудов ему резонно замечает:

— Анисья Мартыновна против меня — темна бутылка!

„Полкила погиблы“

Выборы в местные Советы. Деревня принарядилась. У бригадной конторы с утра праздный народ. На «галдарее» в тенежке пристроился Олеша Пудов с «вы-

ездной» торговлей. Из района привезли конфеты, растаявшие в дороге, банки с повидлом, бочку пива. Мужики гудят у бочки. Старух интересуют сладости.

Марфа Трошичева приценивается к товару:

— Ты мне, Олеша-батюшко, свешай полкило погіблы.

Пудов взвешивает повидло, придерживая, как заправский торговец, скалку пальцем, гоняет с прилавка мух, тут же черпает пиво из бочки, покрикивает на жиденькую очередь и вообще чувствует себя генералом, принимающим парад.

К обеду мужская половина деревни уже готова к подвигам. Среде лужайки раскрасневшийся Пудов тягается на пальцах с Иваном Калиничевым. Иван явно перетягивает. И Олеша кипятится, кричит про неправильный загиб пальца и требует повтора.

Ребяшня, оседлав бочку, катает ее по пыльной дороге, сомлевшие от жары собаки лениво долизывают остатки «погіблы».

* * *

Торговал Олеша с полгода. Лет пять выплачивал недостачу. Притих, присмирел. Жена его, Марья, осмелев, носила по деревне:

— Я ему, Менистру, все одно голову отрублю...

По соседству

Осень выдалась урожайной. «Ягод на болоте — неуборная», — говорили по деревне. Николай Афонин и Иван Калиничев, уговорившись, собрались на болото. На следующий день Николай рассказывал:

— Вижу, Иван ягоду гребет, ничего не чувствует, ровно глухарь на току. А рядом — медведь!..

Пенек разворошил, муравьями лакомится. Прямо скажу, у меня с испуга чуть слабость живота не приключилась. А надо Ивана выручать. Я ему из-за сосны и так и сяк намахиваю, мол, давай скорее сюда. А рычать боюсь. Задерет медведушко.

Тут Иван мою сигнализацию заметил. И во весь-то голос:

— Чево? — орет. — Счас только набируху накатаю...

Пришел. Я ему:

— Ты чо, паря, медведя-то не видел?

— Как, — говорит, не видел. С утра тут ходит.

Посидела...

Надежда Захаровна, в прошлом знатный кукурузовод, имеющая даже медаль за выращивание «царицы полей», в конце 30-х была репрессирована за мужа, крестьянина из соседней деревни, вознесенного судьбой в секретари райкома.

Почти год ее продержали в подвале, куда и воздух-то закачивали принудительно. Вышла на свободу старуха старухой, зубы цынга съела. Дети, подобранные знакомыми, увидев мать, пришедшую за ними, заплакали от страха. Забрала их, уехала снова в деревню.

Вспоминать о тех временах не любит, гораздо охотнее рассказывает о себе всякие побаски, которые, якобы, происходят с ней едвали не на каждом шагу.

— Приехала как-то в Череповец. Пошла на базар. — Говор ее с долей этакой иронической бравады. — Пошла на базар, значит. Вижу, мужик диван продает. Обшивка хорошая, пружины крепкие. Шестьсот рублей просит. Старыми, конечно.

Думала это думала и купила. Села, посидела и смеаю: а как же это я его к пристани поташу? Тяжелый. А потом ведь и на пароход с диваном не пустят.

Тут уже базар закрывают. Сторож в колокольню брякает. «Давай, — говорит, — баба, снимайся с дивана-то!».

Ох, ты мне! Чего делать? Посижу, побегаю. Хоть реви. А тут этот самый мужик и идет... Который диван-то продал.

— Ты чего, — говорит, — расселась? Так и так говорю.

— Ох, говорит ты и дура! Давай, говорит, я у тебя его обратно куплю. За триста.

Продала. Чего делать-то Триста рублей просидела.

В шестидесятые годы она была реабилитирована и восстановлена в партии.. А о судьбе мужа так ничего и не узнала.

„Свинарка и пастух“

На «галдарее» появляется писаная чернилами афиша: вечером в клубе будет демонстрироваться кинокартина «Свинарка и пастух».

Вот уже сколько лет подряд в кино, даже на самые захватывающие фильмы ходит не более пяти человек. Старик Ионов, крестьянин интеллигентного скла-

да, прочитавший в библиотеке всю мемуарную литературу, заведующая почтой молодая вдова Зоя, бесшабашная доярка Верка, не уехавшая из деревни лишь потому, что с четырьмя классами в городе делать нечего, жена киномеханика, да какой-нибудь отпускник.

Но на этот раз клуб оказался битком набит. Собралось, кажется, все деревенское население, и даже дед Петро Стогов пришел, стуча своим посохом по скрипучим ступеням клуба.

И вот на экране ухоженная северная деревня, березовые перелески, высокие дома с резными крыльцами, прометенные улицы, полные молодости и веселья. Бойкая босоногая свинарка — Марина Ладнина и красавец-парень — Николай Крючков, растягивающий меха гармони:

Стоит мне милашке Глашке
Левым глазом подмигнуть,
Как ко мне милашка Глашка
Камнем кинется на грудь.

Когда закончился этот фильм, в зале стояла полная тишина, лишь слышно было, как трещат папиросы у мужиков, дымивших у порога. Народ не поднимался с мест. И тут раздался чей-то голос:

— Анатолий! Рязанов! Крути по новой!

И снова появились на экране Марина Ладынина и Николай Крючков с гармонью, деревенские улицы, полные молодости и веселья, и снова зал затаил дыхание.

В отставке

Дедушка Петро Стогов прожил Аридовы веки. Стоит целыми днями у «галдарей», опираясь на можжевельный посох, выглядывает: не пройдет ли кто мимо, с кем бы поговорить.

Рассказывает мне, как «воевал ерманца», участвовал в Брусиловском прорыве, самого генерала видел. Заслужил Георгия, а сына на глазах убило. В одной сотне служили.

— Вот, думаю, перевалит за сотню годов, так полегче станет. Ан нет, не полегчало.

Работал в колхозе до 95 лет. «За коням» ходил, упряжь чинил, дровни, телеги.

Под конец дочка его Матрена, а ей 79 годов было, вовсе ему ничего делать не давала. Раз весной привезли дрова. Лежат в заулке, неколотые горой. Дух от сырых дров забористый, пьяный. Аж на печке

не в моготу. Не утерпел дедко, слез потихоньку и во двор...

Матрена проснулась: стучит и стучит что-то во дворе. Вышла. А там батько дрова колет. Заругалась:

— Ты почто меня, тятя, перед деревней срамишь, али я сама не управлюсь?..

Умер дедко Петро в 105 годов. От сердечной недостаточности. Жаловался.

Я бы ишо пожил, дак от всех делов остранили.

Ценители

В деревне огородная страда. Все под выгреб на картофельнике. Огороды на задворках идут через узкие травяные межи.

Слева усадьба Геннадия Винокурова. Плаха у него большая, а самого радикулит мучает. Поясница у него с войны болит. Садит и копает картошку на коленях. Не сдается.

Сегодня к нему дочка с подружкой из города на подмогу приехали. Платья короткие, ветер подолы треплет, озорничает. Картошку садят.

— Эх ты, етишки-тишки, — озорно кричит соседям Геннадий. — А ну-ко, на соревнование выходите!

— А стимулы-то как — отвечают с соседней полосы.

— Это, как водится...

— «Ах, Одесса, жемчужина у моря!» — несется от дома Геннадия. Магнитофон висит на огороде, из дома протянута переноска.

— Папка, семенная кончилась, — дочка кричит.

— А не клин, да не мох, так и плотник бы сдох, — машет рукой Геннадий. — Тащи от коровы.

— «Если хилый, сразу в гроб!..» — рявкает на коле голосом Высоцкого.

Вечером сидели в заулке у Геннадия под черемухой. На столе бутылочка «Петровской», соленые огурцы.

— Ну, чтоб колос — в оглоблю, а картошка в колесо! — провозглашает Геннадий.

Тишина по деревне, черемуховый дух в носу щекочет. Благодать.

— Ну, еще по одной!

...Едут по улице ребята на велосипедах, широченные портошины до колен закатаны, за плечами гитары, как ружья.

— Эти из Васькова в Гуреево в клуб, — комментирует Геннадий.

Тут же воют моторы. Кавалькада мо-

тоциклистов летит по дороге в клубах пыли.

— Эти из Гуреева в Васьково, к девкам. А ну, Танька, давай музыку.

Дочка щелкает переключателем:

«А, Одесса!» — восторгается магнитофон.

Заворачивают в заулоч велосипедисты, молча стоят в сторонке мотоциклисты, осаживают свои чадающие керосинки.

«Улица, улица, улица родная, Мясо-едовская улица моя!...»

Стоят покуривают, на лицах блаженная меланхолия.

Поет заграничный ансамбль.

— Денис Русишь, — уважительно откланивается парень с гитарой.

Танька презрительно фыркает.

— Эх, ты етишки-тишки, а вот мы сейчас русскова, хулиганскова! — вскакивает Геннадий, тащит из дому гармонь и балалайку.

— Танька, записывай!

— Куда ты, деревенщину, записывать! Не смешил бы народ.

— Я те покажу народ, — кипятится Геннадий, разводит меха, заламывает картуз, топает подшитым валенком:

«Я мальчишко-хулиган,

Батько делает наган,

От телеги отымают
Колесо на барабан».

И поехал и пошел. «Походную!».

Крякнула гармонь, разломилась меха латанные, забахвалились голоса, басы завздыхали, заподдакивали. «То-то шуму в Гурееве наведем, парней разгоним, девок самолучших выберем, пошли ребята!»

Доволен Геннадий, плечи расправил, про радикулит забыл, наяживает.

Но вот заплакали голоса, бабы завздыхали. Отходную запели. Видать, крепко гуреевские ребята девок любят.

От деревни отошли, повеселее наигрыш:

«А ничего я не жалею,
И ничем не дорожу,
Если голову отломают,
Я полено привяжу».

Схватил Геннадий балалайку, потрянул пальцами, рассыпались струны серебряными колокольцами...

Танька магнитофон в охалку — и домой. Мотоциклисты постояли, постояли, рывкнули газом и умчались в Васьково, велосипедисты штаны закатали и в Гуреево подались.

— Ох ты, етишки-тишки, — только и сказал Геннадий.

Посидели еще на лавочке, погрустили.

Слышим, шаги на дороге. Остановился человек, навел на нас фонарик.

— А-а, вот где веселье... А я седни картошку посадил. Выпил малость.

— Здорово, Сергей, — отрешенно сказал Геннадий.

— Парень, вышел из дому, чую где-то в гармонию играют, ну и пошел.

Это с Гуреева и шел?

— С Гуреева. Добро у тя Генаха выходит. А ну-ко, вали, сыграй.

Ночь теплая, парная. К дождю.

Пожарный рай

Слушал депутатские речи, полные неудовольствия и безудержной критики, и вспомнилось вдруг давнее.

Одной из достопримечательностей нашей деревни был пожарный сарай, горделиво возвышавшийся за конторой. Колхозным пожарным назначен был Михаил Кузьмич, человек характера импульсивного, склонный то к бурной деятельности, то к разлагающей меланхолии и нечего-неделанию, которые сменялись потом долгим запоем.

Поначалу Кузьмич привел пожарный сарай в идеальный порядок и даже привез

из района красочный, рисованный на металлическом листе плакат, на котором в назидание нерадивым хозяевам изображался совсем иной, нежели кузьмичов, сарай. Двери рисованного сарая были разбиты, рядом валялись пожарные рукава, ручная помпа и опрокинутая бочка с рассохшейся клепкой, на краю которой сидела курица и заглядывала в пустоту. На плакате были стихи:

«Все здесь кое-как хранится,
В бочке высохла вода,
Ну, а вдруг пожар случится,
Чем тушить его тогда?»

В один прекрасный день Кузьмич прибил к стенке сарая этот красочный плакат, как бы ставя последнюю точку в создании своего идеального пожарного рая, где каждый гвоздь знал свое место и купался в отческой заботе где каждая металлическая часть сияла доблестным суровым гляncем боевой готовности.

Поскольку пожаров не было, героизма и доблести проявлять не доводилось, то, налюбовавшись делом своих рук, Кузьмич впал в меланхолию, ну, а после в запой.

Шло время, и деятельный порядок пожарного хозяйства быстро исстаивал, на его место заступала запущенность. и очень скоро картина, бичевавшая нерадивость,

стала с фотографической точностью отражать состояние дел в нашем пожарном хозяйстве. Двери были разбиты, на входе валялась ржавая пожарная помпа, рукава, словно фантастические змеи, извивались среди буйства лопухов, поднявшихся на задворках. И даже бочка с разошедшейся клепкой и курицей на ее краю присутствовали здесь в натуре.

Однако, почему-то никто не замечал этой ненарочной критики и мер соответствующих не принимал, покуда не случилась беда. Пожарный сарай вспыхнул среди бела дня и, пуская в небо сизые клубы, сгорел до тла.

За мукой

Анна Филина, многодетная вдова, всю жизнь рассказывает про себя всякие прибаутки. Говорит, так жить легче. Посмеешься над своими бедами, и полвоза с плеч.

— Поехала я как-то в город за мукой. Пароход причаливает к пристани, а я еще поскотиной бегу, опаздываю. Завязла в трясине, а матросы уже чалку отдают.

Я и кричу:

— Пароход, кормилец, погоди, я, дура старая, в грезе сижу!

Сапоги скинула в ледине и бегом. Потом весь день босиком по городу бегала. Купила себе муки, да юбку новую. Обрат-но поехала. Устроилась на палубе, юбку новую сняла, чтобы мукой не запачкать, села на мешок и уснула.

Просыпаюсь, а пароход уже от приста-ни отчаливает.

Я опять матросам кричу:

— Пароход, кормилец, помоги, я, дура старая, заспалась!

Схватила мешок на плечо. Да бегом. А юбка-то моя новая на пароходе и уплы-ла. Ни сапогов, ни юбки, одна рубаха по-сконная на мне.

— Ладно, — думаю, одежду, да обутку ищо наживу, а вот почто это я не на своей пристани вылезла. Мне ведь с утра на дойку.

Всю ноченьку с мешком до дому доби-ралась. Где пореву, где похохочу.

Шла, шла. Моченьки моей нету, а и де-ревня близко.

Запнулась, мешок в канаву полетел, а я за ним. Как наваждение какое получи-лось. Голова на мешок попала, так слад-ко, да хорошо. Просыпаюсь в канаве. Ой, где есть, не соображу. Заспала.

Светаёт. Вижу, мужик идет знакомый.
Спрашиваю:

— Ты куда пошел-то?

Удивился:

— В Васьково, — говорит.

Тут я и смекнула: коль в Васьково, то мне в другую сторону надо.

Чувство хозяина

Вот все говорят: чувство хозяина, чувство хозяина...

А что это такое — никто не может объяснить.

Жил в нашей деревне старик Василий Игнатьевич Беляев. Казалось, что время для него остановилось. Сколько лет ни знал его, а все одинаковый. Жилист, сутул, редкие седые волосы, что пух одуванчика. И глаза. Удивительной ясности голубые глаза, на обветренном, иссеченном морщинами лице.

Василий Игнатьевич возил молоко от колхозного стада на сепаратор. Бидоны так и летали в его руках, хотя было старику далеко за семьдесят. Молчалив. Бывало сидит на передке телеги, и голова его покачивается в такт неспешной поступи колхозного мерина Дозора. Но каждого

встречного Василий Игнатьевич приветит. Приподымет кепочку-блин и улыбнется светло:

Мир тебе, добрый человек.

В деревне было известно, что Василий Игнатьевич воевал в финскую и Отечественную. Говорят, что наград у него — в шапку не окласть. Но хвастать ими старик не любил. Однако, вот дом у него, пожалуй, был самый видный на деревне. Тесом обшит, деревянной резьбой изукрашен, маслом крашен, во дворе полный порядок, все тропочки прометены, каждой щепке свое место, забор выставлен из тонких бадожков, крашенных и опиленных под плавную волну.

Этот забор и послужил причиной события, удивившего деревню и открывшего Василия Игнатьевича с неожиданной стороны.

Как-то пришли в наш деревенский магазин молодые матросы с брандвахты, что чистили дно в реке Шексне. Как раз в магазине был завоз дешевого портвейна, и наши мужики тут же у магазина праздновали это событие. К пиршеству подключились и матросы. Но тут, как на грех, явилась в магазин последняя деревенская девица — доярка Верка, смазливая и кокетливая. Что там произошло, но пошла

между матросами свара. Наши мужики в эту свару тоже встряли: как же, хозяева, надо порядок блюсти. А матросы, заморившись вдруг, повернули свои фланги против хозяев.

Драка завязалась изрядная. Но сила силу ломит, не помогли и стены, дрогнули наши мужики, отступить стали. Василий Игнатьевич баталию из окна наблюдал. Конечно, за деревню обидно, а дело стариковское — на печи лежать. Но только видит он, что один матросик подбежал к его огороду и выломал крашенный стежок, чтобы сподручнее деревенских было гнать. А за ним второй, третий...

Василия Игнатьевича как смело с лавки. Выскочил на улицу, глаза молнии мечут, руки, как мельничные крылья. Подлетел к первому матросу, с одного удара в канаву сшиб, второго левой достал, третьего ногой — и стежок крашенный не помог.

Тут мужики наши, видя столь неожиданный поворот битвы, пошли в наступление и гнали «супостата» до самой околицы.

...Думаю, что эти три матросика с брандвахты ясно представляют себе, что такое чувство хозяина. Жаль вот только, что не совсем по адресу пришелся урок —

надо бы его преподать тем, кто до сих пор над нашей деревней эксперименты ставит. Иль не стало больше по деревням Василиев Игнатьевичей?

Ночью

Иду ночевать к старику Егору Опарину, молчаливому, с виду угрюмому, схоронившему недавно свою жену, бабу Анну.

Ночь. Лежу на диване у окна. Луна льется сквозь стылый узор стекла, треснутого, подкленного газетой. Не спится. Старик тоже не спит. Скрипит самокованная кровать под грузным его телом. Большую часть жизни работал Егор кузнецом. В кузне вверху — жара, внизу — ледяные сквозняки.

У старика болят ноги. Я пытаюсь представить, как сводит подагрой мышцы, разламывает кости, а он молчит, пересиливает себя, сдерживая боль в сжатых до каменности кулаках.

Невыносимо ослепительная луна, усиленная чистыми снегами. Высвечены натертые дресвой половицы, щелявые стесы бревенчатой стены, как иконостас, хранящей семейные фотографии.

Солдат с Георгием невозмутим на фоне рисованных кипарисов. Нога на ногу, блестящие сапоги.

Пароход «Сергей Киров». Молодой парень в форме торгового моряка в зыбком свете луны кажется живым. Смеется, машет рукой с причала.

Тонко жалуются половицы. Старик, огромный и белый, вперевалку, гусем бредет на кухню. Долго пьет из ковша и, переводя дух, приглушенно и зло материт свой недуг.

Отворачиваюсь, считаю до тысячи. Тяжелой тучей наплывает сон. А утром на рваной полосе газеты, скрепившей стекло, читаю изжелтевший, кричащий лозунг: «Все силы на уборку...»

И вновь отчего-то грустно на душе.

Гомо сапинес

Раньше на краю деревни у самой поскотины стоял маленький, словно придавленный сверху чем-то тяжелым, серый домишко. Жил в нем бобылем Шура Манин. Манин — это было его прозвище, образованное от имени матери, какими наделяют в деревнях безотцовщину.

Фамилию Шуры мало кто знал, и даже

в колхозных ведомостях частенько писали Манин.

Шура был мал, сутул, но жилист, скор на ногу. Глаза у него были удивительной голубизны, придававшей его всей фигуре какую-то светлую печаль.

Жил Шура нелюдимо, тихо, скромно. Может быть, эта ничем не пробиваемая замкнутость и послужила причиной тому, что от него через неделю сбежала молодуха, высватанная за большой рекой.

Шура был первым на деревне рыбаком. Поутру пастухи видели, как он с сумкой-заплечницей торопил шаги через поскотину к бору, а в обед уже появлялся у костра заголодавших пастухов, садился смирно в сторону, позволял пастухам выбрать из сумы для ущицы матерых, переложенных осотом, исходящих речным духом окуней. Была в нашей местности речка с хитрым названием Вылазка. Тоненьким ручейком течет она по ту сторону Угольских болот, а в болотах теряется, лишь редкие окна жуткой, пугающей черноты открывает кой-где в чахлый болотный мир. Знал те окна один Шура.

Сколько ни пытали его мужики, как ни опаивали вином в праздники, тайны не добыли. Так и унес ее в могилу нелюдимый, не менее загадочный Шура Манин.

Много лет спустя приехал я с приятелями-журналистами на рыбалку. Машину поставили на краю посада, где жил когда-то первый на деревне рыбак. Дома уже не было. Его разобрали и увезли на дрова. Лишь гнилые, никуда не годные бревна, да дотлевающая щепка лежала на пустыре. Тут же стоял голубой вагончик мелиораторов, на котором было начертано: «Зесь живут гомо сапиенс».

Нет больше тех болот. Ровно и безбрежно лежат поля, и не за что зацепиться скучающему глазу.

Праздник

Иван Калиничев и Олеша Пудов точат в заулке топоры. Искры весело сыплются на молодую траву. У обоих просветленные апостольские лица.

Олеша трогает пальцем лезвие, стучит по нему ногтем, сталь отзывается тонким звоном.

— Сегодня, парень, у нас праздник. Сын из города вернулся. С семьей. Дом будем перебирать, — довольно хвастает Иван. Вертайся и ты. Новый дом поставим, пока силы-то есть. Да заодно и научим, как дома-то рубить. И в лапу, и в

чашу, и в прямую зарубу, и в косую. Пригодится.

— Праздник, значит. Ох-хо-хо. — И они оба довольно улыбаются.

Новые бревна пахнут смолой, и тонкий запах плывет по тихим деревенским улицам, предвещая большую работу и обновление.

Всяк кулик

Утром прихожу на «галдарею», чтобы с попутным молоковозом добраться до райцентра. Там уже караулит машину Борис Кузнецов, в прошлом колхозный кузнец. Покуривает, попыхивает папирсой, прищуривается хитро:

— Что, говоришь, тянет домой-то? Тот. Всякому кулику свое болото дорого. Вон распахали у наших куликов мелиораторы болото. Всем переселение вышло. С Каменного на Долгое переселились. По старому поплачут, поплачут, потом и новое хвалить зачнут. Так и мы: по старому плачем, а за новое держимся.





СВОИМ УМОМ



„Что я вам скажу..“

— А я вам, ребята, вот что скажу...
— Василий Васильевич щурится сквозь стянутые резинкой толстые очки, гордо подымая седую голову на худой морщинистой шее, прокуренный ус его воинственно топорщится.

И молчит. Молчит многозначительно, выжидающе, требуя тишины и полного доверия ко всему, что будет сейчас сказано. А сказано (э-э, надо знать старого рыбака Василия Щербакова!), сказано будет такое, что трудно удержаться, да не бухнуть кулаком в стол:

— Ну, старый, ну, загнул!

Но не дай бог, если даже ироническую ухмылочку твою заметит: тотчас замолчит, улезет на печь, и слова от него не добьешься. Будет высокомерно попыхивать

папироской. Мол, экой вы, молодяжка, народ несерьезный, неча на вас впустую время тратить.

Василий Васильевич раньше работал бакенщиком. Вся жизнь на Шексне прошла. Видел времена и порядки разные. Рыбу лавливал, какая нам и не снилась. И стерлядку, и белугу, и самого батюшку-сома.

Мы же промышляем теперь окуньками, да плотвичками на просторах нового рукотворного моря. И в доме старика Щербакова всегда находим пристанище, певучий самовар, да его бывальщины.

— Так вот, жил на Черной Гряде рыбак, — начинает неторопливое плетение рассказа Василий Васильевич, — Фамильи я его не помню, а по прозванию был Пузырь. Так этот Пузырь белугой промышлял.

За день отмеряли мы с приятелем в поисках добычливых мест километров двадцать. Самовар, да стопочка «с устатку» доканали нас окончательно. В ногах, что мельничные жернова, в глаза хоть спички вставляй.

— Так вот. Откует Пузырь в кузнице крюк, наимает судаков фунта по два на живца и идет на лов. Вместо жилки веревка пеньковая в палец...

Домишко Василя Васильевича стоит обочь деревеньки на косогоре. В окошко видны посадки, сбегаящие к реке, баньки на задворках, почти вплотную подступают к воде, словно собрались стадно на водопой.

Из-за реки катят на деревню изодранные, грязные тучи, подсвеченные снизу запавшим в болотах солнцем. Слышно, как далеко по реке протяжно ухает — бьют сваи под новый шлюз. Северная сторона неба освечивает, словно кто-то большой пытается зажечь в ночи огромную спичку и не может зажечь.

Я вижу, как из крайнего домика спускается к реке мужичонко в драной фуфайке, с мотком веревки в руке, деревянной бадейкой, сталкивает в плескучую зыбь рано остывшей реки утлую лодчонку.

— Вот, паря, наживит он на крюк того судака, наматает веревку на ногу и таскает снасть буксиром на глыби. Иной раз сутки - двои дома носу не кажет, пока брюхо вовсе к хребтине не подволокет. — Голос Василя Васильевича звучит глухо, будто из подвала, то пропадает совсем. Я отчетливо вижу иззябшего Пузыря, сутулую его фигуру в одинокой лодке среди темной зыби. Он гребет окоченелыми руками, гребет, и гребет, и гребет...

Но вот лодка, словно наткнувшись на преграду, стопорит резко, весла, беспомощно махнув в воздухе, выворачиваются из уключин, прыгают белыми пятнами на течении. Пузырь лежит на дне лодки, шпангоуты врезаются ему в бока, дырявый сапог с намотанной веревкой торчит за кормой.

— Взяла, язви ее! — радостно кричит Пузырь и дрыгает ногой. Но в ответ получает такой удар, что сразу же затихает. Лодка стремительно несется в ночи. Мелькают на берегу домишки, деревья, мелькнул копер... Пузырь ухнул. Отмахали уже верст десять. А сил у рыбы не убывает. Нога у Пузыря занемела, он давно уже мог бы скинуть сапог, но сапога жалко, они у него последние.

— Очнись! — приятель мой больно тычет меня в бок. Оказывается, я бессознательно сплю, однако, старик сослепу не замечает.

— Так вот, паря, на белуге до Череповца и катит. Вымотает ее, к лодке причалит, веревку под жабры пропустит и... поехал. А в городе у пристани встанет. Народу соберется, что на ярмарку. А Пузырь за погляд с каждого по пятаку, шапку по кругу пустит. А уж потом за вожжи потянет, белуга-то и всплывет. Экая-то

дура! По шестнадцать пудов лавливал.
...За окном набирает силу ночь. Мы идем с товарищем на сеновал, забираемся под полог. Однако, сон уходит вдруг, лежим, вслушиваемся.

Река не спит. Из темноты доносятся режущие воздух звуки моторных лодок. Сколько их? Десятки, сотни, тысячи моторизованных, вооруженных современным оружием и снастями рыбаков и охотников.

Под утро мне снилась темная река, одинокая фигура в лодке. Пузырь выгребал на течение, щурил на меня сквозь толстые стекла очков хитрые глаза, и прокуренный ус его воинственно топорщился.

Как Петька не поверил Геродоту

Как-то под осень завернул к Василию Васильевичу. В последнее время пришел к тому обостренный интерес к сельскому хозяйству. Любит поговорить о его проблемах, газеты прочитывает от корки до корки, изыскивая рецепты для поправки страдающей деревни.

В каждый мой приезд идут у нас ост-

рые дебаты по этому поводу. Василий Васильевич вызывающе попыхивает папирсой, выжидает момент, чтобы «сразить противника наповал» приготовленный на этот случай сенсацией.

Вот и на этот раз он бойко взбирается на лавку, нашаривает на полке, украшенной стриженными газетными подзорами, небольшую книжицу, снова водворяется за стол, плотно прижимая ее рукою.

— Тут вот я такое дело вычитал. Не знаю, поверишь, нет ли? Петька вон Ершов не верит, — начинает Василий Васильевич с подходом, как на глухаринной охоте. — Так вот. Жил в свое время один древний историк по фамилии Геродот. У него, значит, и сказано, будто еще много раньше жил этакий совсем древний народ — шумеры. Ну, ты знаешь, грамотный. Так вот Геродот и писал, что будто бы они там в Междуречье преогромные урожаи собирали. Страшно представить: сам — сто, сам — двести...

Уж не знаю, как они там считали, на круг или в амбарном, а все получается, что каждое зерно до двухсот зерен давало. Если так, то у нас урожай-то в двести центнеров, в четыреста должны выходить. Вот так-то! — И Василий Васильевич веско прихлопнул рукою книжку.

— Ну, а дальше?

— А дальше я своему соседу и сказал. Что же это, говорю, Петька, получается? У тебя трактор в сто пятьдесят лошадей. Агротехнику ты в училище спознал, тебе и удобрения, и советы научные выдают, и семена отборные экую даль везут, а осенью посмотришь — колос от колоса не слышать и голоса...

Вон, говорю, мужичонки-то, шумеры-то древние: и грамотки никакой, ни тебе тракторов, ни сеялок, ни химии, а как тебя обскакали...

— А Петька-то что?

— А врет, говорит, твой Геродот. Загнул, говорит, для потомков. Чтобы, говорит, мы не думали, что они там лаптем щи хлебали...

Василий Васильевич пододвинул, наконец, мне книжицу. Это были «Очерки развития земледелия» С. Скорякова.

— Читай, не думаю, чтобы уж так загибал этот Геродот.

Действительно, так и было написано. Более того, другой древний историк, Страбон, называл урожайность еще более высокую — сам-триста. А современные ученые, занимаясь расшифровкой клинописи, — нашли подтверждение их словам.

— Вот ты и скажи, — волновался Ва-

силий Васильевич, — зачем бы это древним шумерам очковтирательством заниматься, да еще эту вранину на камнях высекать?

— Да, запустил мне Василий Васильевич, что называется, ежа под череп. Тоже все хожу теперь и думаю: «Чем же это мы тогда семь тысячелетий занимались?»

Не положено!

В зелени и тепле плавится май. Ручьи, уставшие от паводкового разгула, чуть слышно звенят на перекатах, жаворонки колоколят над головой. Из сырых низин накатывают волны хмельных запахов талой земли и цветущих медово ив.

Добираюсь домой на перекладных. На старом Череповецком тракторе подбирает колонна грузовиков, везущих в дальний Мусорский угол семена и удобрения. Однако радоваться еще рано. Скоро бетонка кончается, и колонна встает.

На границе, с насыпной дорогой перекинут огромный, изо всего леса, осиновый шлагбаум. Из маленькой, сколоченной наспех будки вылезает старик в бродах,

зеленой пограничной фуражке без кокарды.

— Не пушу! — решительно машет он руками. — Поворачивай!

Вот оно что! Дорога на распутицу закрыта. Закрывают сельские проселки каждую весну, и каждую весну между дорожниками и шоферами идет упорная война.

— Покуражится, да пропустит, — спокойно уверяет меня шофер и вылезает на обочину покурить.

Старик молчаливо оглядывает колонну, сдвигает на глаза фуражку, чешет седой затылок.

— Впустую мужики стоите сказано — не пушу!

Он поворачивается к будке и начинает обстоятельно пластать топором короткий чурбачок на дрова. Скоро над будкой занимаются кислотовато-горькие куржавчики дыма. Дед собирается чаевничать.

Уверенность у шоферов падает.

— Эй, батя! — кричит шофер головной машины. — Ты это кончай! Нам ехать надо.

— А ты, езжай, — выглядывает старик из окошечка. — Только в обратную сторону. Через город езжай. Чай, своя дорога есть. А нашу-то есть кому и без вас, бить.

— Да ты в уме, старый! Что нам, двести километров крюк делать? — начинают кипятиться мужики.

— Мое дело маленькое.

— Да ведь посевная, бюрократ ты в ботах! Семена везем, понял!

— А ты, гражданин хороший, не кричи. Есть повыше начальство. Товарищ Бурышев строго-настрого наказал: без документов не пушай, — отвечает сторож.

— А это что? Филькина грамота? — шофер потрясает потрепанным пропуском.

— А вот мы и посмотрим: Филькина, али товарища Бурышева.

— Старик лезет в карман за очками, долго шевелит губами, рассматривая бумаги.

— Не пушу! — наконец, все так же невозмутимо говорит он. — Товарищ Бурышов наказал только с красной полосой пущать, а у ты — синяя. Не стой, батюшко, не стой!

— Ла-дно-о- — скрежещет зубами парень. — Ладно, старый пень. — Он со злостью пинает камень на обочине. Камень плюхается в канаву, пугая лягушек. Шофер кривит рот, зашиб палец. — Я тебя, старая кочерыжка, в будке запру. Будешь тут всю ночь куковать.

— Не выйдет милый! — ласково возражает старик. — Лицо его раскраснелось от чая и полно благодушия. — Я уж и нумерки ваши на гумажку списал. А то этта и в самом деле ваши, нет ли, мужики батожок к дверям приставили. Учен.

— Этак его не возьмешь, — говорит мой шофер. — Тут нужна дипломатия. Пустит, куда денется.

Он идет к мужикам на совещание. Солнце уже скатывается к вершинам леса, стряхнувшего зимнюю дремоту. Слышно, как под гулками сводами сосен бормочут косачи, и где-то далеко в просыхающих полях ровно гудят тракторы.

Мужики толпятся у будки.

— Постно кушаешь, батя. Пустой чай душу не греет. Пуншиком не балуешься?

— Не потребляю!

— Али старуха ругает?

— Я, милый, на службе не пью.

— Ой, ли. Поднести, может?

— Отказываюсь категорически. Ты меня на подкуп не бери. У меня у самого старухе наказано в лавку сбегать. Кончу дело, гуляю смело.

Мой напарник возвращается, сердито падает на сиденье:

— В объезд не тронусь. Ночь просижу, а высижу. Всяко уйдет домой, либо уснет.

Тоскливая тишина надолго воцаряется на дороге. Лишь ошалевшие от любви лягухи, радостно и безмятежно славят и славят такой простой и справедливый мир.

— Эй, генерал! Подымай бревно, — совсем безнадежно окликает старика шофер передней машины, самый молодой и нетерпеливый.

— Не подумаю! — дед берет топор и принимается докалывать чурбачок.

Где-то в середине колонны раздается вдруг пронзительный визг, и вслед за ним крепкая ругань. Тут же визг повторяется, становится все яростнее и отчаяннее. Старик поднимает голову, прислушивается. Визжит поросенок. Ругается шофер. Еще утвром купил он его на свинофабрике, ведет домой. Поросенок оголодал за день, бунтует.

Дед торопливо семенит к машине.

— Не как кабанчика купил? — спрашивает заинтересованно шофера.

— Купил! — огрызается тот. — Тебе что за забота?

— А как жо? Подохнет чай. Деньги плачены. Ну-ка, покажь?

Он стаскивает мешковину с корзины, радостно сдерживая брыкающегося поросенка.

— Доб, кабанчик, доб. Я этта сам из города привез, кабанчика-то. Еле-еле со старухой отходили. Оправился, не сглазить бы.

Он торопливо бежит к шлагбауму распутывать узел веревки. Лесина, качнувшись, медленно ползет вверх.

— Езжайте, езжайте, мужики. Бог с ним, с Бурышовым. Доб, поросенок, доб!

Весело бегут машины по просыхающей дороге.

Еду, радуюсь, что засветло еще буду дома. И тоже весело повторяю: «А доб, кабанчик! Доб».

„Понеси бадог...“

Леха Петров, детина медвежьей силы, косая сажень в плечах, отважный малый и задиристый, отправился на моторной лодке за клюквой. Было у него заветное место, которое он ревниво оберегал и никому не показывал. Мужики не раз пытались выследить Леху, но тот, словно индеец из племени гуронов, так искусно запутывал следы и сбивал с толку преследователей, что до сих пор никому не удалось выведать того ягодного места, где клюква родилась не меньше Лехиногo ногтя.

А они были ответственны Лешкиным кулакам, на которые не приведи бог кому-либо нарваться. Недаром прозвище было Лехе — Культиватор.

Итак, Культиватор отправился за клюквой. В устье заросшего ивняком ручья он схоронил лодку, проверил, как обычно, нет ли «хвоста», и бодро тронулся в путь. В лесу было тихо, безлюдно. Вскоре Леха успокоился и пошел, уже не оглядываясь. До места было ходу минут сорок чернолесьем, потом нужно было еще пересечь подмошье, поросшее осинником и березняком. Вот тут-то, в подмошице, Культиватор и обнаружил, что за ним следят самым нахальным образом. Сквозь молодой лиственный подрост он заметил три серые тени, необычно короткие, но широкие в плечах, бойко продвигающиеся по зыбкому приболотью.

— О, понеси бадог, — выругался Культиватор, — надыбали и хоронятся. — И он «нарезал» во весь свой разгонистый «лосиный» мах, выбирая путь в чапыжнике погуще. Минут через десять напряженной гонки он перевел дух, оглянулся и с раздражением отметил, что преследователи не отстают, а даже, наоборот, догоняют его, как-то очень уж плавно скользят по неровному, опутанному черничником

кочкарнику и пригнувшись Тогда Леха решил плюнуть на дипломатические увертки.

— Эй, мужики, — гаркнул он во все свое луженое горло, — вали отсюда, пока целы!

Мужики приостановились, рассыпались и стали обходить Культиватора с трех сторон.

— Врешь, не возьмешь — крикнул Леха и снова ударил в бега, только набирушка заколотила бешено по ногам.

Однако мужики тоже прибавили и стали выходить Культиватору наперерез. Леха только теперь более-менее по-настоящему разглядел их. Невысокие, широкоплечие, длиннорукие и..., что самое было удивительное, без голов. То ли на головы они натянули фуфайки, то ли еще каким другим образом представлялись....

— От живоглоты, — загневался Леха. — Ишь, дурят-то, дурят. На испуг хотят взять. Не на того нарвались!

Он встал в боевую позу, потрянул крутыми плечами.

— Вы чо, в натуре мужики, — заорал он. — Не ясно? Сказано, дернуть отсюда! Ну-у!

Но Лехин громкий рык не произвел на преследователей никакого впечатления.

Они быстро приближались к нему.

И тогда ретивое у Культиватора взыграло.

— А-а! — заревел он еще громче и яростнее. — Я предупреждал. Ну, теперь держись. Он ухватился за березу в руку толщиной и как спичку переломил ее у комля.

— Моя финка пятый номер — позолоченный носок! — заорал он.

Безголовые безмолвно и решительно наступали. Лехе стало немного жутковато.

— Если кто еще не помер, — рявкнул он, каждую строчку отрывая, словно гвоздь вколачивая, — припасай на гроб досок!

В могучих руках Культиватора береза превратилась в увесистую дубинку. Леха со свистом покрутил ее в воздухе.

— А ну, подходи, кому жись не дорога!

Первым сунулся к нему мужик с левого края. Культиватор уже не мог себя остановить и, ухнув, опоясал преследователя дубиной. Странно — Леха не почувствовал никакого сопротивления, словно дубина прошла через пустое место. Только сияющий искристый след остался там, где она соприкоснулась с телом безголового. Культиватор махнул направо. И снова, свистнув, дубина, будто через пустоту,

прошла через следующего безголового, у которого на груди Культиватор успел разглядеть какой-то круглый светящийся диск. Все происходило в полном молчании.

Культиватор не выдержал. Взвыв от накатившегося страха, он крикнул:

— Да вы чо, мужики, в натуре! Да вы кто хоть есть-то? Ежели вам клюква нужна, — покажу, только отвалите от меня, мужики...

В ответ — тишина. Тут Культиватор увидел, как над болотом висит какое-то странное светящееся сооружение в виде шара и, ощупывая зеленым лучом под собой пространство, приближается в их сторону.

Культиватор взвыл раненым медведем и бросился бежать во всю прыть.

...Отдышался он только на середине реки, мотор, натужно воя, мчал на всем газу домой своего хозяина. Леха оглянулся: над лесом в том месте, где лежало болото, было видно какое-то странное серебристое свечение.

— Понеси бадог! — выругался он. — Неужели пришельцы из других миров? — пришло вдруг ему в голову.

Пока Культиватор ехал до дому, мысль о пришельцах утвердилась в его сознании. Чувствуя исключительность своей персоны

и момента, который пережил в лесу, Леха стал необычайно говорлив.

— Я, гу, мужики, в натуре, вали отсюда! Я не посмотрю, с какой вы галактики! — докладывал он на работе шоферам. И в глазах его светился восторг собственным поступком.

День на третий Леху увезли в Кувшиново.

...Было это два года назад. Через неделю Леха вернулся из больницы молчаливо подозрительный. С месяц, наверное, народ еще вспоминал Лехин задвиг, посмеиваясь над ним незло, а потом и позабыли об этой истории, пока газеты одна за другой не начали печатать сенсационные материалы о якобы появившихся в Харовском и других районах Вологодчины пришельцах. Безголовых, плоских, длинноруких со светящимися дисками на груди, появлявшихся из огненных шаров.

И тут же вспомнили сразу о Лехе Культиваторе. Председатель профкома прибежал в гараж с газетными вырезками.

— Алексей Владимирович, — кинулся он к Культиватору, — так это что же получается? Так, значит, все, что вы рассказывали, правда? Нужно срочно сообщить в газету!

Вокруг их уже собиралась толпа. На Культиватора глядели восторженно и боязливо.

Леха огляделся, повел могучими плечами, потом ухмыльнулся ехидно:

— Вы чо, мужики, в натуре! Крыши, что ли, поехали? А ну, дерни отсюда. Работать надо, понеси бадог.

Под лозунгом

— Эй, дядя! Куда правишь-то?

— Дак на рынок, сынок, на рынок!

— А что ж ты с пустом-то?

— Как это с пустом! Я не с пустом, я с лозунгом. Наша деревня завсегда с лозунгом жила. Наши мужики политический момент за версту чувуют. Скажут сверху землю делить — делим, скажут объединять — объединяемся. В колхоз — так в колхоз, в единоличники бросят клич — пойдем в единоличники. Советы отменяют — тоже ладно, царя на трон приведут — «Боже, царя храни» грянем.

Вот, помню, Никита Сергеевич взошел на пост и принялся хулить вождя всех времен и народов Иосифа Виссарионовича. Жалко, конечно, вождя, да терпим. А Хрущев тут же свою линию гнет.

— Вы, говорит, мужики, шибко по Сталину не тужите. Груб, говорит, был, да к тому же тиран. А мы с вами вот чего лучше сделаем: коммунизм построим.

— Как это? — заинтересовались.

— Ой, да делов-то! — отвечает — От старых земель отступимся, целину распахем, кукурузу повсеместно внедрим, Америку догоним, а там и рукой подать!

— А и верно, — говорим, — сложного тут нет ничего. Зато при коммунизме благодать — хочешь на печи лежи, хочешь в потолок поплеывай. Даешь коммунизм!

Крикнули Хрущеву «ура» и стали коммунизма дожидаться. А тут немного погодя объявляется Генеральный секретарь Брежнев.

— Вы кого, говорит, слушаете? Да ведь он всему миру известный Емеля. Он даже в ООН ботинком по трибуне стучал. Вы, говорит, послушайте, чего я скажу. Коммунизм, конечно, говорит, дело хорошее. Мы от него не отказываемся, а вот с Америкой того... Промашка. Мы, говорит, за Америкой рванулись, а скотина-то наша и поотстала. Потому и перебои с мясом и молоком.

Я, говорит, вот чего предлагаю. От целины отступаемся. Россию срочно пере-

именовываем в Нечерноземную зону и начинаем подымать. Все деревни, какие есть, в одну свезем. Под старыми земли распахиваем, столько всего нарастет — в Африке не приесть будет.

— И то верно, — думаем. — В одной-то деревне веселее будет. Даешь зону! Ура Леониду Ильичу!

Долго ли, коротко ли объявляется Андропов.

— И что же это мы, граждане, все разаемся-то?

— А что? — заскребли в затылках.

— Да ведь не нами сказано: выше головы не выскочишь. Предлагаю: работать на процент лучше, а с каждого рубля по полушке экономить. Это в масштабах страны какая экономия выйдет!

— Даешь полушку! — согласились мы.

Крикнули Андропову «ура» и на печь полезли. Чего после Андропова говорил Черненко — не помним — все заспали.

А тут и Горбачев поспел:

— В чем дело, товарищи, — почему на печи?

— А у нас по программе коммунизм давно.

— Я ту программу переписал.

Закряхтели, слезли.

— Слушаем.

— Значит так: коммунизм, граждане, в силу его неперспективности, отменяется. Старую систему ломаем, а из ее обломков капитализм соорудим. С человеческим лицом.

— Ну, коль так, оно конечно, — отвечаем, — мы всегда. Пожили при коммунизме, отчего при капитализме не пожить?

— Это хорошо. Это значит, что мы двигаемся в нужном направлении. С новым мышлением теперь поторопитесь-ка, граждане, на рынок, за отношениями.

— Будет сделано, — говорим.

Написал наш секретарь парткома лозунг «Все — на рынок!» — вишь, вон на передней подводе трелыхает, сели, да и поехали. Забыли вот только спросить, кормить за казенный счет будут или из дому брать?

На фронте наробраза

Один мой знакомый решил установить рекорд своего города по неупотреблению спиртных напитков. По их меркам нужно

было не пить тридцать один день. Тяжело, конечно, но слава дороже.

Не пьет. День, второй, неделю. Жена ничего понять не может.

— Ты, — говорит, — дорогой, не заболел случаем?

Вторую неделю крепится. Собака по нему уже, как по покойнику, воет. На третью завернуло. Денег — полные карманы, девать некуда. И так двадцать девять дней. Наконец, жена ему говорит:

— Ты, Коля, совсем положительный стал. Иди-ка на родительскую конференцию!

Пошел. Два часа внимал докладчику и выступающим по школьным бедам и проблемам. Потом возьми да и спроси областного чиновника:

— А скажите, как формируется бюджет просвещения?

Тот отвечает:

— Из небольших отчислений промышленных предприятий, а все остальное — от продажи водки.

Вышел мой знакомый на улицу и думает: какой же это я урон за двадцать девять дней воздержания нанес народному просвещению. Стыдно. Вызвал он тогда своего старого собутыльника и — в ресторан.

— Сколько, — спрашивает официантку, — может стоять школьная парта?

Та удивилась:

— Рублей сорок, — отвечает.

— Тогда нам водки под парту и закуски сверху...

Встретил я его на тридцатый день несостоявшегося побития рекорда. Опухший и небритый, он поймал меня за лацкан пиджака и стал убедительно философствовать:

— Почему у нас есть галереи ударников труда, а нет галереи подвижников просвещения? — спрашивает настойчиво.

— Вот я за вчерашний вечер в ресторане хороший классный кабинет обставил.

— Я считаю так, — горячился он, — что наших дорогих пьяниц не в вытрезвители должны тащить. Возле каждого, кто по канавам пал на фронте образования, пионерский пост поставить с барабаном и горном. И табличку такую переносимую установить: «Здесь спит отличник народного просвещения».

Кукарача

Как-то раз, еще в славные времена застоя, отправили из Вологды нескольких

молодых и крепких парней в дальний медвежий угол убирать картошку.

Собирались они основательно, нагружая рюкзаки консервами, пакетами с супами, и, конечно же, водкой.

То ли дело в деревенской глуши пропустить после трудового дня на свежем воздухе стаканчик!

Не буду рассказывать, как летели они на «кукурузнике», потом тряслись на машине, ехали на тракторе, на телеге, забрались в такую глухомань, что, наконец, решили: все край света.

Но и на краю света жили люди. В одной малюсенькой деревушке выгрузили их у крайней к лесу избышке, которой только что курьих ног не доставало. Крылечко напоминало скворечный леток, крыша набекрень съехала, окошки в землю смотрелись:

— Вот здесь, у бабки Аглаи и устройтесь, — сказал им возница и тут же отбыл в обратном направлении.

Согнувшись в три погибели, наши герои шумно ввалились в избу. В красном углу сидела бабка — божий одуванчик — с седыми, словно пух, волосами и ласково смотрела на пришельцев.

— Здорово, бабуся! — бравадисто

и в то же время покровительственно гаркнули вологжане.

— Здорово, фраера! — громко и насмешливо ответствовала из угла бабка.

Наступила конфузливая тишина. Однако молодцы быстро оправились и принялись выгружать на стол банки и бутылки. Расселись, пустили «змия» по кругу.

— А что, бабушка? — спросил кто-то.
— Может, и ты тяпнешь за компанию?

— А ты не спрашивай, а наливай. Там увидишь, — бойко отвечала бабка Аглая.

Выпили. «Божий одуванчик»хватила стакан и не крякнула. По второму пошли. И тут старая не уступила. По третьему... Дело уж до песен дошло. И тут бабуся хватить за рукав самого молодого и — на чердак. Через пять минут тащат с потолка пыльный патефон с пластинкой. Одной-единственной. Бабуля иглу о припечек поточила, пружину покрутила — поехали...

— А кукарача, а кукарача...

Все, кто в избе был, в пляс пошли. И бабка Аглая с ними.

— А кукарача, а кукарача...

Только пыль столбом, да изба ходуном. То-то веселье!

◆ Ночь прокатила, день пролетел... Как-то очнулись молодцы — свет не мил. Головы трещат, водка кончилась, есть нечего. Бабка Аглая ходит, командует:

— А ну, фраера, живо на поле! Видите, кучи картошки лежат. Вон мешки — набирайте. А я мигом.

Набрали с грехом пополам с десятков мешков. А тут и «божий одуванчик» катит на лошади.

— Грузите, — кричит. — Да поживее. Покидали мешки. Бабка свистнула, гикнула и — ходу.

Около обеда, видят, обратно едет. С песнями. И сетка водки в руке.

И опять началось. День, да ночь — сутки прочь.

— А кукарача, а кукарача...

Опомнились, когда уж обратно в город пора пришла. Ни в поле палец о палец не ударили, ни денег в кармане на обратную дорогу. Отбили на остатки телеграмму, дождались перевода и — пешком по увалам.

На центральной усадьбе сунулись было у председателя машину просить.

— И видеть вас не хочу, — заревел тот медведем. — Работнички...

Те в свою очередь обиделись, в контратаку пошли.

◆

А вы куда нас поселили? Ничего себе у вас по деревням бабки! Это не бабуся, а чистая баба Яга. Наа, молодых, так уходила, что еле живы.

Председатель вдруг помягчел, поскреб в затылке:

— Аглая-то ? Так она не наша, — сказал он уже спокойно и с некоей долей удовлетворения. — Ее в тридцатые годы сюда из Москвы за аморальное поведение выслали. На перевоспитание. Вот она и перевоспитывает народишко до сих пор. Одно слово — Кукарача.

Кирилловская

Кирилловские гармони славятся и по сей день, хотя еще в пятидесятые годы гармонный промысел на Вологодчине был разгромлен самым настоящим образом. Фабрика сожжена, мастера разогнаны, кустари обложены огромными налогами.

Добыть в ту пору кирилловскую гармонию было делом чрезвычайно трудным.

— Цены нет! — Старый гармонист Виктор Рассказов достает из своей гармонной коллекции самую неказистую.

— Пришел из армии, надо жениться. А как без гармони женишься. А чтобы

хорошо жениться, нужна кирилловская. И пошел я пешком в Кириллов. Это километров сто вдоль Шексны лесами, да болотами. Все взбудил. Нету гармоней. Мастеров при одном упоминании в дрожь бросает. Делать нечего, надо, несолоно хлебавши, оглобли поворачивать.

Иду. Темнеть начало. В одной деревне захожу в крайний дом. Сидит мужик на лавке.

— Ночевать можно?

— Ночуй.

А гляжу на комоде под накидкой гармонь.

— Играешь?

— Нет.

— Дай сыграть!

Взял ее: «Мать честная! Вот она!». Из рук не могу выпустить.

— Продай!

— Нет, нет, нет.

Я в магазин. Беру три бутылки.

— Давай пить!

— Давай!

Я играю, он пляшет. Выпили одну.

— Продай!

— И не проси!

Вторую осушили.

— Продай!

— Не могу.

Пошли на третью.

— Продай!

— Ладно. Давай четыреста. И уходи. Скорей. Не то баба моя с фермы придет, отберет обратно.

Я гармонь под мышку и бегом. Километров десять рысью отмахал. Дальше леса, да болота пошли. Развернул меха и — с песнями.

Ночью слышу кто-то сзади на лошади едет. Догоняет молодуха. Поглядела на меня внимательно:

— Давно, говорит, сзади еду. Добро играешь. Садись, что ли.

Забрался я на телегу, подсел к ней на грядку, развел меха. Я играю, она поет.

Утром уже спрашиваю:

— А ты куда едешь-то?

— Да вот, говорит, хотела тебя догнать, да гармонь забрать тятину. Да больно ты хорошо играешь, заслушалась.

Рассказов замолчал, погладил гармонь и пустил сверху вниз лихой перебор.

— Вот она, голубушка!

— Ну, а хозяйка ее как? Уехала?

— Ну-у... Вон она за самоваром сидит. От кирилловской гармонии еще ни одна не уходила.

„Тереоптически...“

После деревенской парной бани по черному хорошо сидеть за певучим самоваром и тешить душу приятной беседой, позабыв про внутреннюю и внешнюю политическую обстановку, про разваливающуюся экономику и умирающее село. А если в этот момент коснется кто проблем глобальных, то в умиротворенном застолье и они щелкаются, словно орехи.

Итак, сидели мы после бани — московский фотохудожник, лет пять снимавший деревню для газеты «Правда», ученый-эколог из столицы и я, грешным делом, деревенский публицист, у шофера Алексея Шеина и предавались задушевным разговорам.

— Берешь, — рассказывал один, — столько-то граммов такого-то удобрения, добавляешь к нему этакое другое, вносишь его по схеме до Иванова дня под пропашные, и вырастает она, матушка, я — те дам!

— Да, — вторил ему другой, — нутрия — зверь капризный. Рацион должен быть составлен так, чтобы сохранялся ежедневный баланс белков, углеводов и жиров, но не превышал...

— Ты прав — избу нужно рубить в охряпку. И непременно помнить о золотом сечении. Без этого ни одна изба не поднималась, — заливался третий.

Олеша Шейн, малый пятидесяти лет, с полутораметровым разворотом плеч, утирая пот с лица полотенцем размерами с хороший половик, крякнул и тоже вступил в разговор.

— Возил я в агропроме специалиста по раздою коров Глеба Ивановича Худолеева. Тот учил доярок, как массаж вымени делать, как мастит лечить, как аппарат надевать. До самой пенсии учил. А когда провожали на пенсию, весь наш коллектив банкета удостоился. Вот после второй или третьей черт меня и дернул.

— А скажи, — говорю, — Глеб Иванович, сколько ты за свою жизнь коров подоил?

— Что ты, Олеша, ни одной, — отвечает. — Я ведь специалист тереотический.

...Мы дружно захохотали. А Олеша смахнул со лба гигантским своим полотенцем градины пота.

Да, приятно сидеть после баньки за певучим самоваром и вести задушевные, «тереотические» беседы.

На Югах

Олеша Шеин дожил до пятидесяти и ни разу дальше райцентра не выезжал. Да и как ехать: летом дел не впроворот, зимой не меньше, да и холодно. А тут прибыл с Севера брат жены и к стенке припер:

— Бирюком жизнь прожил. Помрешь и света белого не увидишь. Сестру, смотри вон, заездил, продыху не даешь. Давайте, говорит, свожу-ка вас в Эссентуки.

Три дня воспитательную работу вел и, наконец, заломал Олешу. Выхлопотал Шеин десятидневный отпуск перед сенокосом, чемоданы оклали и — на юга. Не буду рассказывать как ехали, расскажу как приехали.

Только устроились, вещи не успели распаковать, шурин говорит:

— К морю, к морю, в лазурные волны упасть...

Пришли на берег. Глянул Олеша вправо, глянул влево, прямо посмотрел — и остолбенел. Насколько глаза хватало — плюнуть некуда — всюду лежали и не жились под солнцем тела, тела и тела. Тысячи, десятки тысяч, а может, и сотни, откормленных, загорелых тел.

Глянул Олеша на жену свою, у той глаза по луковице.

Шурин их к воде тянет, а Олеша уперся, как бык.

— Вот что, Клавдия Васильевна, — говорит, — нам с тобой эту нероботь никак не прокормить. Это в сенокосную пору! И мы с тобой туда же. Я всю страну проехал, а всего двух мужиков с косами видел.

Махнул Олеша рукой и говорит решительно:

— Поедем-ко, Клава-матушка, домой, да и деткам своим дорогу сюда закажем.

И уехал, как ни усердствовал и ни уговаривал его шурин.

Стакан водки

Всю ночь на краю деревни кто-то гудел и рычал озарялся яркими вспышками, шарил по улицам длинной рукой прожектора, выводил, подвывая и взрыдывая: «Ай лав ю, май бэби! Ай лав ю!».

Утром деревня проснулась и увидела на околице дьявольскую машину с гусеницами выше человеческого роста и такой же ширины, с прицепом на гусеницах, с платформой, на которой, как в поле, за-

терялись два строительных вагончика.
— Газовики прикатили! догадалась бабка Марфа. А доярка Люба, возвращавшаяся с фермы, окинула взглядом новоявленного монстра и тут же нашла ему практическое применение. Она постучала палкой в двери кабины и оттуда выглянул взъерошенный и мятый, будто его достали из стиральной машины, водитель:

— Свези на болото! — задорно крикнула Любашка. Водитель поглядел на ее мутно и, оживившись вдруг, выдохнул:
— Стакан!

Через пять минут Любашка вернулась с корзинкой и половиной бутылки в руках. А вокруг машины газовиков, словно муравьи, сновали деревенские жители с рюкзаками, корзинами, коробами. Экое счастье подвалило: все не ломай ноги за десять километров до клюквенника! И мы с товарищем присоединились, взгромоздились на прицеп, как на палубу океанского лайнера поднялись. Но вот «адская» машина взревела, дрогнула и поехала, будто полдеревни вдруг отделилось и покатило в сторону леса.

Едем, пьем с доярками чай в вагончике. И тут заскакивает товарищ с дикими глазами:

— Ты погляди, что творится!

Лесная дорога петлива, громоздкой машине не развернуться, и она идет напрямик. Березы и ели в обхват ложатся под гусеницами, будто трава. В вагончике даже чай не расплескался.

Через полтора часа на болоте.

— Приезжай к вечеру, кричит Любашка и показывает водителю вторую половину бутылки.

— Давай сейчас! — хрипит водитель, но Любашка уже исчезает в лесу.

«Адская» машина словно медведь ворочается в берлоге и грозно рычит. Деревья лопаются с веселым треском, будто спички. И вскоре в лесу образуется кратер, напоминающий место падения тунгусского метеорита.

— И всему этому цена стакан водки, — говорит приятель.

Вечером «адская» машина уже дожидается нас. Протрезвевший водитель сидит на поваленном дереве, перегородившем тропу, и в глазах его вспыхивают нахальные искры. Он останавливает каждого пассажира, отмеряя из его корзины пятилитровое ведро клюквы и сыплет себе в разбухший мешок, напевая:

«Ай лав ю, мой бэби! Ай лав ю».

Дубовая аллея

Пословица молвит: хоть горшком назови, только в печь не ставь. Да вот не каждому нравится в «горшках» ходить. Была в наших краях деревня с названием Дураки. Раньше как-то никто и внимания не обращал: ну, Дураки и Дураки. Ведь совсем не обязательно, скажем, чтобы в Стариках одни старики жили, а в Молодках — одни молодухи, так и в Дураках, чтобы одни дураки плодились. Тем более, если покопаться не в столь давней истории, то есть чем и погордиться. Вышли из Дураков три генерала, два кандидата и один доктор наук, секретарь обкома один. А сколько тут наплодилось начальства на уровне районного подчинения, так и вовсе не счеть.

Так что причин особых для переживания не было. Но до поры, до времени. Выбрали как-то нового председателя сельского Совета, и только он приступил к исполнению своих обязанностей, как тут же стал впадать в сомнения. Печать поставит, а на печати: «Дурацкий сельский Совет народных депутатов». Вроде бы, не совсем пристойно звучит, и для народной власти обидно. А еще хуже под-

пись: «Председатель Дурацкого сельского Совета А. П. Щербаков». Опять же в район поедет, а там секретарша в приемной: «Иван Иванович, Щербаков из Дураков к вам». Ну скажите, кому это понравится?».

Короче говоря, на ближайшей сессии сельского Совета было решено просить Верховный Совет республики навсегда избавить деревню от позорного пережитка прошлого. Новое название деревни обсуждали общим собранием. Какие яросторы и возможности открывались: твори, выдумывай, пробуй!

Спорили до посинения. День спорили, вечер спорили, ночи изрядно прихватили. Осипли, охрипли, устали, как на лесоповале. Под утро отбили в Верховный Совет телеграмму: «Просим в дальнейшем бывшую деревню Дураки именовать Дубками».

А следующей весной у сельского Совета пионерами и ветеранами была высажена дубовая аллея, чтобы на этот раз название и впрямь соответствовало содержанию.

От винта

— У нас в деревне чуть не в каждом дворе по ероплану стоит. Без ероплана нам карачун. Магазин пятилетку как закрыли, фельшарица сбежала, дорог нету...

Надо, скажем, в район за какой справкой, либо в собес со справкой, выгоняешь аппарат: «От винта!» — полчаса и на месте.

Откуда, говоришь, еропланы? Сами, сами клепаем. Как-то еще при Брежневке завезли фанеру, вот ее и пользуем.

...Однажды на вечеринке среди московских ученых, устав от разговоров о неумении русского народа работать, о его бесталанности, я рассказал про летающую деревню. Восприняли как дурную шутку. Пришлось показать фотографии: «ероплан» во дворе, «ероплан» в воздухе, «ероплан» на льду озера — хозяин достает из кабины «шарманку» и ледобур. У моих оппонентов округлились глаза.

— А что вы удивляетесь, — отвечал им я. — Я одного мужика знаю, который березовый трактор сделал. Все у него березовое, кроме, понятно, мотора. Срубил березу, вытесал деталь, закрепил на березовую шпильку — поехал. Милое

дело, если к железному запчастей не достанешь.

— Ну, это уже фантастика, — возмутились ученые.

Пришлось снова показывать фотографии.

— Это еще что! Аэропланы, трактора... Наш деревенский механизатор электронику, как орехи, щелкает. Вот, скажем, изломался цветной телевизор — берет гаечный ключ, отвертку, паяльник. Вечер поковырялся — показывает, как новый. А что делать? Мастера в деревню не затащишь.

— Невероятно! — ахали москвичи. — И как это им удастся? Без образования, без научных расчетов...

Я вспомнил лесковского Левшу,

— А глаз, говорю, у нашего мужика так пристрелямшись. А чего же ему остается делать, коль образованные, да ученые все по городам сидят и деревню только по телевизору наблюдают.

Где рай земной?

Поехал я как-то в Москву. Неделю там пробыл, чувствую — все, больше не могу. Шум, суета, толкотня. Содом и Гоморра. Ад кромешный. Еле дождался, когда в вагонном окне покажутся родные вологодские кучи битого бетона, ржавого железа и болота меж путей.

Вышел на родимую улицу: господи, какая брагодать! Тишина. Никто не толкнет, на ногу не наступит.

А через два дня пришлось ехать в Сямжу. Там вообще чудо земное. Простор, а воздух — мед чистый..

Из Сямжи — в Усть-реку, центральную усадьбу колхоза «Нива» поехал. Там тишина и покой меня совсем поразили. Слышно, как муха летит. А воздух! Нектар! Вот где рай-то истинный.

Нужно мне было найти колхозного пастуха Николая Окатова.

— А он, — говорят, — на хуторе в Лодейке пасет. Езжай туда. Пробрался в Лодейку. Вижу, сидит Николай на крыльце единственного жилого тут дома и по лицу заметно блаженствует.

Подсел к нему, вздохнул всей грудью

воздух, прислушался к тишине лугов, а Николай ласково так говорит:

— Люблю Лодейку! — и тут же, немного погодя, — а Усть-реку терпеть не могу: шум, суета, толкотня. И воздух — отрава! А в Лодейке... Он глубоко и аппетитно вздохнул, словно затянулся сверхдорогим зарубежным табаком, что продают у нас сегодня по десятке за пачку.





МИМОЛЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ



Здравствуй, Наталья Петровна!

— Живу в городе на девятом этаже, словно птичка на дереве. Всю зиму ногой земли не трону. А как пригреет — на цепи не удержать. Робятам своим: везите до дому, и весь сказ. Дома-то мне каждая елочка, каждая березка поклонится: «Здравствуй, Наталья Петровна!».

Кого вычеркивать?

В кои-то века в деревню к старухам приехал председатель сельсовета, молодой, румяный, как красная девица, парень.

— Вы, — говорит, бабушки в нынешние выборы будете голосовать по-новому. Теперь у вас будет два кандидата: один председатель колхоза, другой — секретарь парткома. Одного в бумажке, которую дадут, нужно будет вычеркнуть.

— Это которого?

— Сами решайте. Можете секретаря, можете председателя. Выбирайте того, от которого больше пользы для вас будет.

— Ну, тогда надо обоих вычеркивать...

Натуралист

— Раз у бабки Ульяны в деревне сижу себе у пруда. Смотрю: что такое? Луковица по воде плыет. А потом раз — и скрылась. Потом другая. Третья. И все под воду ныряют. Пригляделся — ондатры бабкин лук воруют. Пока сидел поди с час — всю гряду перетаскали.

Два фольклора

— Бабушка, а бабушка! Мы студенты с пединститута. Фольклор собираем. Нет ли у вас какого-нибудь фольклора?

— Погодите, погодите. Всяко ишо мой тятя с германской приносил два фольклора, да и патронов сунку... Вот только на потолок слазаю.

По графику

Построили в деревне животноводческий комплекс, что тебе завод настоящий, а рядом — девятиэтажный дом для obsługi.

Поехали доярки на ферму, да в лифте и застряли. Ни взад, ни вперед. Коровы недоеные на комплексе орут, доярки в лифте в голос воют...

Председатель колхоза звонит в «Сельхозтехнику»:

— Достаньте мне из лифта труженин животноводческого фронта!

А те:

— У нас по графику не ваше хозяйство. Ваше мы в следующем квартале обслуживаем! — И трубку бросают.

Зимовке на Ягрыше

Деревенька Дресвище оживает лишь с первой травой. Приезжают сюда художники, писатели, поэты отдохнуть, порыбачить, запастись к зиме ягодами, да грибами. Из коренных жителей одна единственная старушка — бабка Ульяна. В Дресвище родилась, ходила по нянькам, батрачила, замуж вышла. За вдовца.

Четверо детей приемных, да пятеро своих. Теперь они давно уже сами внуков имеют, живут по новым местам, родину свою позабыли.

Да и что в родине-то? Ни свету, ни радио. Одна вот только бабка и зацепилась за родной порог. Ни у тех, ни у других жить не желает. Дома-то каждый сучок свой, у каждого гвоздя своя история. А пуще всего боится бабка Ульяна в зависимость попасть, самостоятельности лишиться, лишней себя почувствовать.

— Хоть и черен свой кусок, да не обжуреной.

Летом здесь благодать. В магазин ли сходить тропками-прямушками — в радость, лес — под боком, соседи понаедут — повадно. Да и на огороде урожай завязывается — душе отрада.

С лета начинает бабка Ульяна к зиме готовиться. Сушняк из леса таскает, пилой ширкает, хлеб сушит, грибы солит, бруслику топит — зима все приберет.

С первыми холодными дождями пустеет Дресвище, и только бабка Ульяна все еще хлопочет по хозяйству. Переметут снегами метели дороги и тропки, навалит к крыльцу сугробов — бабка словно медведь в берлогу залегает. У нее даже колодец в к рыльце.

Истопит русскую печь в зимовке — первые дня два на кровати, как барыня, спит, потом на печь перебирается, там теплее, а потом и вовсе в печь переселится. Пройдет неделя — снова праздник — печь топит.

Так до Масляной перезимует, а там уже солнышко припекать начнет, пора к весне готовиться, картошку перебирать, яровизировать, рассаду высаживать.

Первая огород свой вскопает, соседям поможет, пока они ее в городских квартирах нежатся. Хозяйка. Набольшая.

Как-то глухой осенью завернули мы с товарищем в Дресвище. Печь топили, уху хлебали, ночевали. Бабка Ульяна проведать нас заглянула, стопочку вина выпила, старинных песен попела.

Товарищи мои расчувствовались:

— Вот благодать-то какая! Спокой дорогой. Остаться бы тут навсегда, огород копать, рыбу ловить, корову бы завести на коллектив!

Слушала, слушала эти речи бабка Ульяна и загоралась вся.

— А что, — говорит, — ребята. Надо бы корову-то, ой, как надо. Глите-ко, по второй год лучкаря в нашей деревне стога ставят, все покосы наши пробрили. Слыхино ли дело, чтобы Лучкино в Древищах сенокосило.

А корову заведем, так зиму я за ней догляжу, места у меня на дворе — приволье, да и мне поваднее будет.

Больше товарищи мои о перспективе речей не заводили.

Сон Федота

В одном из колхозов глубинного района лучший тракторист — пьяница. Рассказывают, напился однажды в страдную пору, да и уснул прямо за рычагами трактора: сильно припекло. Трактор въехал на склон холма, накренился, и тракторист мешком вывалился из кабины. Закатился под куст и остался досыпать в тенечке. А трактор дальше поехал.

Проснулся Федот уже поздненько. С пастбища пастухи гнали коров. Тут он опомнился. Бежит деревней, видит: бабы стоят у колодца, судачат.

— Бабы, — кричит, — не видали, трактор мой тут не проезжал?

— А, вроде, твой, час назад в Глядково пошел!

А Глядково — центральная усадьба совхоза, километрах в пяти...

На том стоим

В магазине:

— За чем стоите-то?

— Дак за колбасой!

— Колбаси-те нету!

— Дак привезут.

— Говорят, на комбинате колбаси-те еще не наделали!

— Дак, наделают.

— Да ить мяса-то нет, неросло еще!

— Дак нарастет!

— Че, так и будете стоять, пока не нарастет?

— Постоим. Семьдесят лет отстояли, дак теперь всяко недолго осталось!

Озолотились

В этом древнем глухом селе еще недавно стояла на пригорке небольшая «Кулинария», снабжавшая местное население пышными ароматными пирогами. Как-то раз покупателей набилось изрядно. Но тут с улицы кто-то закричал:

— Бабы, в раймаг золото привезли!

Очередь из «Кулинарии» будто вымело. Дружной толпой ринулись райцентровские Венеры, Авроры и Афродиты в универмаг. Пекари и продавцы, сверкая белоснежными колпаками и халатами, возглавляли колонну. В один миг магазин оказался битком набит покупателями. Места всем не хватило, и на улице остался хвост очереди. И только было начали торговать золотишком, как снова на улице кто-то заголосил, на этот раз не по-хорошему:

— Бабы-ы-ы, «Кулинария» горит!

Очередь ахнула, но с места не тронулась. Так и стояла упорно, пока не «озолотилась».

Сегодня обгоревшие стены «Кулинарии» покажут вам в этом селе как достопримечательность, как символ стойко-

сти его женского населения. Покажут и не пременно вздохнут при этом:

— А все говорят, что худо живем!

Круговорот сала в природе

У Ивана К., лесника из глухого таежного поселка сбежала жена. Благо еще, что детей у них не было, но вот скотины остался на попечении Ивана полон двор. Иван по пьянствовал по такому случаю с неделю, но ревушая на дворе скотина быстро привела его в чувство.

Иван оказался неплохой хозяин. Осенью, когда подморозило, он пришел к соседу с просьбой заколоть поросенка, Сосед заглянул в хлев и ахнул. Там едва помещался не хряк, а настоящий бегемот.

— Сколько ему, — удивился сосед, — года два?

— Какое там, — отвечает Иван. — Мартовский. Он потому у меня такой вымахал, что я его молоком пою. Сам-то я молока не потребляю. А молоко, вишь у меня жирное. Я сала не ем, я корову им кормлю...

СВОИМ ДОМОМ

На реке Славянке есть заброшенная деревушка. Десяток пустых домов и всего два жилых.

Ни летом, ни зимой дорог сюда нет. Лишь весной в самую водополицу пробирается на моторной лодке председатель местного сельпо — «он у нас радимый», завозит «на разу» макароны, муку, соль, сахар, спички.

В одном краю деревни живет старик, в другом — старуха-вековуха. Давно живут, давно вдовы. Казалось бы, что ни жить вместе, дров меньше идет, хозяйство легче вести, веселее. А вот каждый сам по себе...

Вологодская Коррида

Вместе с директором откормочного комплекса отправились мы осматривать территорию новой фабрики мяса.

И тут из дверей блока с густым, уробным ревом вырвалось с десятков огром-

ных быков, от тяжелой поступи которых, казалось, сотрясается земля.

Ошалев от свежего воздуха, они грозно взбрыкивали, мотали опущенными лобастыми головами с метровыми в размахе рогами.

Все мы, и даже директор комплекса, попятились назад. На наше счастье из боковой двери вышли четыре женщины, вооруженные длинными рейками и, словно тореадоры, привычно орудуя им, принялись загонять быков на высокую эстакаду, а с нее в кузов автомобиля.

И это грозно ревущее, сотрясающее землю стадо не выдержало напора и повернуло, недовольно отмахиваясь могучими рогами. В пять минут все было кончено.

Мы подошли. Молодая женщина с ярко накрашенными губами, когда мы пытались выразить восторг, лишь насмешливо сверкнула глазами.

Другая, пожилая, оказалась разговорчивее:

— Привычные. И мужикам своим, когда домой на рогах заявятся, шириться не даем.

Шинель

Про войну вспоминают по-разному. Василий Васильевич Невзоров, сапожник из Бирякова, рассказывал:

— Шинелишка у меня изнасилась, прострелена, осколками побита. Старшина увидел и говорит: «Невзоров! В разведку пойдешь — получи новую шинель. А то, не дай бог, в такой шинели в плен попадешь, так перед неприятелем стыдоба...».

Фильм про войну

В Ленинграде. Две пожилые женщины, перенесшие все ужасы блокады, смотрят по телевизору документальный фильм про войну.

Болото, топкая дорога, артобстрел. Солдаты в грязи, в воде, выбиваются из последних сил, вытаскивают из хляби пушку. Лошади мало в чем помогают им. Сами увязли.

И вдруг взрыв... Фонтаны грязи, шевелящаяся серая масса. Объектив выхватывает бьющуюся в агонии лошадь.

Обе женщины, до того спокойно смотревшие фильм, разом вскрикнули:

— Лошадка-то, бедная, как мучается!

Тут же, рядом, тихо и безмолвно гибли люди.

Собственник

Тихий августовский вечер. На крыльце своего родового дома сидит Валера, машинист тепловоза, курит, наслаждается погодой. Напротив крыльца маленький садик, посаженный еще руками отца, тоже машиниста. Садик давно одичал, но яблони все еще щедро родят хоть и кислые, но приятные на вкус яблоки.

Сад — гордость Валеры. Каждого гостя старается затащить в это буйство чертополоха и накормить до отвала бывшим белым наливом и антоновкой.

И вот в такой тихий вечер в Валерин сад забрался вор. Валера заметил его с крыльца. Страшен он был в тот миг, взыграл в нем дух собственника. Схватив в коридоре топор, Валера бросился в сад защищать добро.

Но через несколько минут смущенный хозяин выскочил из калитки уже без топора, схватил в коридоре ведро и снова

убежал в садик, где собственноручно на-
рвал полное ведро яблок, вручил его
вору. Потом объяснял:

— Мужик, де, залез в сад малых сво-
их ребятишек яблоками побаловать. Я
ему и говорю: что бы ты мне сказался,
я бы мешок наклал.

Мало того, этот оборванный, ханыжно-
го типа мужик, видя такое расположение
к себе, попросил у Валеры в долг пятерку.

Пятерка у Валеры была последняя,
оставшаяся от денег, которые дала ему
жена, уезжая с детьми на юг. Валера так
и сказал об этом мужику, но тот был
настойчив и клялся, что вернет ее в бли-
жайшие день-два. Пятерку он получил.

Потом, наверное, с месяц поджидал
Валера на крыльце своего нового знако-
мого, пока не смирился с мыслью, что его
просто-напросто обманули.

Поговорили...

Утром пришла дочка Валеры — третье-
классница Наташа.

— Папа просил передать, что не смо-
жет придти к вам встречать Новый Год...

— Как так?

— А потому, что вчера к папе пришел

его знакомый и они стали с ним разговаривать на кухне. Потом дяденька присел триста раз, а папа — сто пятьдесят. Теперь у него ноги болят, и брюки ему не одеть...

Двойной оклад

Мой знакомый, большой оригинал, получил однажды зарплату — 62 рубля 90 копеек. По нынешним временам что за деньги? Вздохнул. Шестьдесят рублей в один карман положил, а мелочь себе на папиросы оставил.

Вечером протягивает жене получку. Та пересчитала.

— Всего шестьдесят? — удивилась.
— Я ведомость смотрела, там больше было.

Знакомый мой, ни слова не говоря, взял из рук жены эти несчастные десятки, разорвал пополам.

— На, — говорит жене, — коли тебе шестьдесят рублей мало, получи сто двадцать!

Вот так, жить надо уметь.

Как жили!

Директор института «Вологдагипроводхоз» Николай Павлович Кокончук на встрече с молодыми мелиораторами рассказывал:

— В 1961 году законил я техникум и стал работать мастером. Как работали, какие отношения между людьми были!

Я занял у одного экскаваторщика двадцать рублей и забыл. Вспомнил о долге уже на службе в Армии. Тут же отослал деньги.

Через две недели на мое имя приходит перевод на 40 рублей. И ни слова, только подпись.

Я отсылаю эти деньги обратно. Через две недели снова перевод, но уже на 80 рублей. На том и остановился.

На тропке

Как-то возвращались с товарищем на его «Жигулях» с болота. Товарищ страстный грибник и ягодник. На своей машине объездил всю Вологодскую область, кажется, что каждую елку у дороги знает, каждый перелесок.

Нагруженные добычей, ехали мы проселком. Было воскресенье, и грибников, да ягодников на «Жигулях», казенных УАЗиках мчалось по дороге без счета. Оставались в стороне маленькие, оставшиеся, серые от пыли деревеньки с заросшими травой улицами, позаброшенными домами и огородами.

И тут я увидел старую, совсем старую женщину на длинной и узкой, как половик, наполовину взрыхленной картофельной полосе. Она накапывала ведро картошки и несла его по взрытой земле к стоящему в конце гряды гнтому венскому стулу. На стуле грузно распухал мешок. Старушка высыпала картошку в мешок, присела и, взвалив его на плечи, потащила во двор.

Ее высохшие ноги в кирзовых сапогах казались спичками. От тяжести старушку качало...

Миг, и мы пролетели мимо деревни к гудящему моторами и сотрясающему воздух шоссе.



З.С.Р.

Анатолий Константинович Ехалов
ГОЛОВА САДОВАЯ
Художник А. Тарунин

Сдано в набор 17.01.92 Подписано к печати
23.03.92. Формат бумаги 60×90 $\frac{1}{32}$ Печ. л. 4,75
Тираж 10.000 экз. Заказ 142
Кич-Городецкая районная типография
Цена

PC
E93

+KP + KMIH



Α. Χαϊουβ